

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Д.В. Григорович «Повести и рассказы» //ЖАЗУШЫ, Алма-Ата, 1987
FB2: "Busya ", 11.05.2008, version 1.0
UUID: 6924cfca-2455-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Васильевич Григорович

Кошка и мышка

Содержание

I. Осенние виды и мальчик с бочонком0005
II. Семейная радость и приготовления	0025
III. Маленькая биография маленького человека . .	0046
IV. Передряга0071
V. Объяснения. – Надежды. – Последствия . .	0091
VI. Кошка и мышка	0104
VII. Возвращение на мельницу	0138

**Дмитрий Васильевич
Григорович
Кошка и мышка**

I. Осенние виды и мальчик с бочонком

К концу осени, когда нет еще снега, но утром и вечером начинает порядочно уже подмораживать, выпадают иногда такие ясные, лучезарные дни, что на минуту обманываешься и думаешь: не апрель ли опять на дворе?.. Солнце горит так же ярко, в воздухе столько же блеска, тени на обнаженных холмах так же легки и прозрачны! Недостает только воркования весенних ручейков, запаха земли и песни жаворонка, чтоб подкупить вас совершенно.

В один из таких дней, утром часов около десяти, в околице села Ягодня показался белокурый мальчик лет тринадцати. Мальчик, каких бы то ни было лет и с какими бы то ни было волосами: белыми, черными или рыжими, принадлежит к самым обыкновенным сельским явлениям. Но мальчик, о котором идет речь, заслуживал особенного внимания: он нес за плечами ведерный бочонок, обвязанный старым кушаком, концы которого на-

ходились в руках его. Будь за плечами этого мальчика корыто, ушат, связка хворосту, плетеная кошелка с мякиной, пук сена; восседай там другой мальчик – младший братишка, – или болтайся за плечами лапти или даже новые смазные сапоги, ничего бы не было удивительного, но бочонок – особенно с железными обручами и новой точеной деревянной пробкой, воля ваша, такое обстоятельство невольно возбуждало любопытство!

Начать с того, что посудинки этого рода во все не в употреблении в крестьянском хозяйстве: нечего класть туда; потом, бочонок не по карману; наконец, известно было, что во всем околотке таким бочонком обладала одна только дьячиха; и то достался Он ей по случаю: одна из приходских помещиц подарила. С какой же стати мальчик этот, не принадлежащий ни с которой стороны дому дьячихи, нес этот бочонок?.. Но мальчика мало, казалось, занимали такие соображения. Выйдя за околицу, он потрянул бочонок с самым беззаботным видом, перенес концы кушака в левую руку, поправил свободною рукою шапку, которая лезла на глаза, и, весело посвисты-

вая, зашагал по дороге.

Дорога, укатанная недавно еще проезжавшими подводами с овсяными и ржаными снопами, звенела под ногами и лоснилась на солнце, как серый полированный камень. Вправо от нее неоглядно желтели поля, покрытые шершавым жнивьем; слева тянулись крестьянские гумна, обнесенные старым земляным валом, с торчавшими кое-где плетнями и ветлами, побросавшими свои листья. Тень от плетней и ветел местами пересекала дорогу, отпечатывая на ней прихотливые узоры инея, который превращался в капли и пропадал, как только убегала тень и прикасались к нему лучи солнца; от канавки, наполненной листом, кустами крапивы и полыни, побелевшими от измороси, несло острой свежестью. Но чем темнее рисовались плетни и стволы ветел, тем ослепительнее сверкали за ними скирды и крыши гумен; чем тише было вправо от дороги, тем шумнее было за ветлами. Там из конца в конец немолчно звучали удары цепа, шумела рожь, падавшая звонкими, сухими зернами на гладко убитый мерзлый ток, слышался говор народа, шелест голу-

бей и крик галок, перелетавших с места на место.

В числах пернатых воробьи, как и всегда, впрочем, отличались особенною егозливостью и трескотнёю. Недаром называют их в простонародье ворами и разбойниками! Глядя, как суетились они, как задирали одиноких галок и как потом таращили серые свои перышки, когда которая-нибудь из этих птиц выказывала намерение напасть в свою очередь; как обсыпали они тогда соседнюю ветлу и разом принимались пиццать и бить крыльшками, – можно было думать, что они считали себя здесь полными хозяевами и приходили в такую ярость потому лишь, что защищали собственность.

Такие проделки сильно забавляли мальчика; можно сказать, воробьи сделались даже единственным предметом его внимания, как только ступил он на дорогу. Следя за ними быстрыми, веселыми глазами, он то ускорял шаг, то замедлял его; каждый раз, как крикливая стая, сделав неожиданный поворот в воздухе, опускалась на макушку ветлы, мальчик припадал к земле и начинал подкрады-

ваться; брови его подымались, и лицо выражало быстроту и лукавство; в чертах и движениях явно проглядывало намерение подкрасться ближе и застать птиц врасплох; но нетерпение всякий раз портило дело: не успев сделать трех шагов, он суетливо свешивал набок свою ношу и принимался стучать камнем в дно бочонка, издававшего при этом какой-то глупый глухой звук.

Бочонок был пуст, — это ясно: иначе быть не могло: одна пустота бочонка могла объяснить прыжки мальчика, легкую его поступь и веселость; не мог бы он в другом случае бегать за воробьями и не стал бы так громко смеяться, когда птицы, испуганные грохотом бочонка, пугливо и врозь разлетались. Мальчик выказывал, впрочем, такой веселый нрав, что мог бы, кажется, смеяться и под более тяжелой ношей. Веселость его проистекала, по-видимому, столько же из нрава, сколько от здоровья и довольства жизнью; от полных щек его, разрумяненных остротою утреннего воздуха, дышало свежестью; в чертах не было следа лишений и преждевременного утомления. Он был в лаптишках, старом по-

лушубке, очевидно принадлежавшем рослому человеку, и шапке, которая, конечно, могла только принадлежать владельцу полушубка; но все это было, однако ж, в порядке; заплат было много; попадались даже заплатки из синего и бурого сукна, но не висели они лохмотьями, а тщательно обшиты были кругом белыми здоровыми нитками; короче сказать, все показывало очень счастливого мальчика, – мальчика береженого, вволю пичкавшего хлеб и кашу, не лишенного нежных материнских попечений. Уже самая фигура его, крепкая, пышущая здоровьем и похожая издали на медвежонка, ставшего на задние лапы, красноречиво подтверждала такие предположения.

Он продолжал стучать в бочонок и посвистывать до тех пор, пока не миновал гумен. Тут он потрянул шапкой как-то сверху вниз и без помощи рук надвинул ее на глаза. Солнечные лучи, не заслоняемые ветлами и скирдами, били ему теперь прямо в глаза. Дорога выходила на пологую, ярко освещенную луговину, за которой вдалеке круто вырастал горный уступ, окутанный тенью с левой стороны

луговины мелькали последние кровли села; там же, но только несравненно ближе к дороге, возвышалась старая деревянная церковь, обнесенная решеткой. Глубокий воздушный простор за церковью наполнен был ярким солнечным сиянием; от церкви через луг шла длинная тень, в которой точно так же серебрилась изморось, отпечатывая на траве углы колокольни, крест и тонкие полосы решетки.

Мальчик с бочонком продолжал спускаться и посвистывать. Внезапно он замолк и остановился. Посреди мертвой тишины слышались стоны... Они раздались за церковной оградой, где находилось кладбище... Случись такое обстоятельство ночью или даже в сумерки, мальчик бросил бы свой бочонок и полетел бы без оглядки в село, но теперь он ограничился тем, что стал вслушиваться. Румяное лицо его, исполненное до настоящей минуты рассеянностью и детской беззаботливостью, осмыслилось выражением внимания. Он свернул с дороги и пошел к церкви. Стоны усиливались и превращались в рыдания. Немного погодя мальчик остановился у огра-

ды; приложив щеки к решетке, увидел он высокого, худощавого мужика, который закапывал могилу; баба, между тем, лежала навзничь подле ямы и отчаянно колотилась головою оземь.

Лицо мужика знакомо было мальчику; он знал, что мужика звали Андреем; он встречал его в селе, встречал в церкви по воскресеньям, встречал на дороге, на мельнице. Он слышал, как родные, говоря о нем, называли его всегда бедным. Все это припомнил мальчик, и вид знакомого человека в слезах и горе еще сильнее пробудил его любопытство. Но любопытство находило особенную пищу в отчаянии бабы; она билась у могилы и приговаривала нараспев:

*Ох, тяжело мне... тяжело!
Ах ты, сизый голубь мой,
Ненаглядное дитяtko!..
Кто мне теперь защебещет?
Кто меня сердцем порадует?*

– Полно, жена... Ох!., знамо, тяжело! Как быть!.. Власть божья!.. – говорил в то же время мужик, тяжело переводя одышку и продолжая закапывать могилу.

– Батюшка!.. Батюшка! – голосила еще отчаяннее баба. – Ох, батюшка!.. Егорушка... дитяtko мое... белянушка!.. Засыпали твои светлые глазушки, кормилец мой... Не воротись-ся уж оттоль, родной мой!.. Ох!.. Тяжко!.. Тяжко мне, горькой!..

– Полно!.. Ну, полно... Как быть... Христос с ним, – проговорил Андрей, продолжая работу и часто останавливаясь, чтобы отереть слезы, которые текли по щекам его и въедались в морщины.

Прислушиваясь к таким речам, мальчик машинально следил глазами за лопатой Андрея. Мерзлые комки земли сыпались с лопаты в могилу; она постепенно мельчала. Вот там мелькал еще уголок, куда проникал луч солнца, но земля засыпала его. И никогда уже в этот уголок не глянет солнце! Никогда также не увидит дневного света и Егорушка! Что случилось теперь с ним, так недавно еще бегавшим, кричавшим и резвившимся на улице? Впрочем, ему, верно, теплее теперь, чем отцу и матери, которых едва прикрывают лохмотья! Но зато как холодно ему будет, когда мороз насквозь прохватит рыхлую землю

могилки! Как страшно будет Егорушке в глухую зимнюю ночь, когда живой человек не пройдет мимо кладбища; когда по округу рыщет только серый волк, прислушиваясь чутким ухом к лаю собак и свисту ветра... Ветер гудит в стропилах колокольни и веет из-за угла церкви сыпучий снег... Винтом крутится снег в мерзлом воздухе и ложится косыми полосами поперек погоста...

Такие соображения легко могли представиться воображению мальчика с бочонком за плечами, а впрочем, не ручаюсь; достоверно то, что он отошел от ограды тогда только, когда Андрей засыпал могилу, поднял жену и повел ее с погоста. Мальчик возвратился на дорогу; раз или два останавливался он, чтобы посмотреть им вслед, но вдруг, как бы вспомнив о чем-то, пошел вперед по скату ускоренными шагами. Немного далее, когда совершенно уже открылся луговой скат, спускавшийся к горному уступу, мальчик увидел бабу, которая вязала пучки льна, разостланного по траве ровными рядами; за нею тотчас же показались другие бабы, занимавшиеся тою же работой. Дорога проходила мимо, и первая

баба окликнула мальчика, как только он с нею поравнялся.

– Гришутка!

– Эй! – весело отозвался мальчик.

– Откуда, из села?

– Да.

– Посылали стало, зачем? – вмешалась другая молоденькая бабенка, оставляя также работу и приближаясь к мальчику. – Зачем посылали?

– Вишь, бочонок! – сказал мальчик, встряхивал своей ношей.

– Здравствуй, Гришутка! – промолвили еще две другие, выходя на дорогу, – отколь?

– Да уж сказал – из села! – возразил мальчик, – За бочонком посылали; вина хотят взять...

Что у вас, праздник, что ли? – спросили в один голос бабы.

– Сестра родила... – отвечал мальчик.

– Ой ли! Когда?..

– Ахти, касатки! – воскликнула молоденькая бабенка. – Кого родила, мальчика или девочку?..

– Мальчика...

– То-то, я чай, дядя-то Савелий возрадовался. Ась?.. Семь лет ждал внучка-то! И ты, небось, рад, Гришутка? А?.. Рад, я чай? Сам дядей стал теперича... Дядя теперь!.. Дядя!..

– То-то, касатушка, он с нами нонче и здороваться-то не хотел! – подхватила самая молоденькая, поглядывая на мальчика лукавыми глазами, – идет себе, как чуфарка какой, право! Смотреть даже не хочет... Ах ты, дядя! Дядя!.. – промолвила она, засмеявшись, и неожиданно нахлобучила ему шапку на глаза.

– Ну!.. Оставь!.. Чего ты... Полно! – кричал Гришутка, откидываясь в сторону и делая невероятные усилия бровями, чтобы приподнять шапку на лоб.

– То-то у него щеки-то нонче как разгасились! Вишь красные да жирные какие! – подхватила другая, подскакивая к мальчику прежде, чем успел он поднять шапку, и прикладывая ладони к щекам его, которые были так свежи, что баба почувствовала свежесть даже на ладонях своих.

– Оставьте! Ну!.. Что пристали?.. Ну!.. – кричал мальчик, тщетно стараясь освободить

глаза от шапки и отбиваясь от баб, которые, радуясь случаю побаловать и посмеяться, обступили его кругом, тискали и дергали во все стороны.

– А, ну-ткась, тяжел ли бочонок-то? – говорила одна, налегая руками на посудинку и выгибая назад мальчика.

– Не пуще тяжел! – смеялась другая, дергая концы кушака, перехватывавшего плечи мальчика, и нагибал его вперед.

– Бабы, вали его наземь! Вали разбойника! – крикнула третья.

В ту же секунду несколько рук обхватили его; но чье-то плечо перекосило шапку Гришки набок, и правый глаз его освободился из мрака; это обстоятельство мигом воскресило в нем бодрость, начинавшую уже падать; он начал рваться во все стороны, работать локтями, брыкаться ногами, двигать бочонком, и прежде чем бабенки, посреди хохота и крика, успели возобновить осаду, ловко вывернулся из кружка и стремглав пустился вниз по дороге. Скачки мальчика приводили в движение старую пробку, проткнутую когда-то в бочонок, и которая лежала там, прилепившись ко

дну; принимая шум прыгавшей пробки за погоню, Гришка первую минуту летел стрелою и без оглядки. Он вскоре очнулся, однако ж, и остановился, чтоб перевести дух.

– Экие ведьмы! – закричал он, быстро обращившись к верхней части луговины, где стояли бабы, хохотавшие во все горло. – Право, ведьмы!.. Ведьмы! Ведьмы! – подхватил он скороговоркою и постепенно усиливая голос.

Бабы захлопали в ладоши и сделали движение, как будто пускались догонять его. Гришутка задвигал ногами и снова полетел без оглядки. Он остановился тогда уже, когда добежал почти до подошвы лугового ската и ясно увидел, что опасения его ни на чем не основывались; баб не было даже видно: лен растилался в небольшой лощине, которая делалась заметною только издали; бабы принялись, видно, опять за работу, и наклоненное положение скрывало их от взоров мальчика. Тем не менее, он счел долгом назвать их несколько раз ведьмами; облегчив себя как будто от огромной тяжести, он бодро потрянул бочонком и начал прыгать по камням, служившим переходом через ручей; ручей бежал

между подошвой пройденного лугового ската и горным обрывом, который подымался почти отвесно.

В этом месте подводы переезжали обыкновенно вброд, а дорога, перехваченная ручьем, снова показывала колеи свои между берегом и обрывом; она следовала течению ручья и шла влево. Немного погодя мальчик обогнул часть ската, и церковь в высоте предстала перед ним, обращенная другим своим фасом; обернувшись назад, он мог бы увидеть также село Ягодню, которое, с этой точки дороги, целиком почти рисовалось и смотрело своими окнами, игравшими на солнце, на небольшую долину, по которой вился ручей. Но Гришутка не думал оборачиваться. Его привлекали другие предметы; то на одном из камней усаживалась ворона и требовалось задержать шаг, подобраться к ней ближе и пугнуть ее с места; то останавливали его внимание маленькие заводья ручья, покрытые блистающими иглами льда, не успевшего еще оттаять на солнце; нельзя же было пройти мимо, не надломив ледяной корочки, не пососав ее. Лед теперь в диковину; шутка! как давно его

не было! Трудно также было утерпеть, чтобы не спихнуть камня, который висел над ручьем и, казалось, сам просился упасть в воду; или не пустить по ручью обломка древесной коры и не полюбоваться, как пойдет она вилить и прыгать между камнями, как буркнет и пропадет она в пене, сбравшейся подле уступов, и как потом снова поплывет, следуя прихотливому изгибу.

Местами берега покрыты были кустами лозняка, который укреплялся даже кое-где посреди ручья в виде маленьких островков. Но как плачевно смотрели теперь эти островочки! Чем сильнее пронизывало их солнцем, тем заметнее выказывалась их бедность; вместо частой, непроницаемой зелени всюду торчали голые, холодно лоснящиеся прутья, перепутанные поблекшей ежевикой, засыпанные у основания листом, похожим на луковичную скорлупу и жалобно хрустевшим при самом легком ветре. Проходя мимо, Гришутка открывал иногда между прутьями серенькое пушистое гнездо; такое открытие давало ему всякий раз случай дивиться, как не заметил он его прежде, проходя тут летом. Что же бы-

да это за птица такая?.. Должно быть, крохотная какая-нибудь! И куда она теперь делась?

«Погоди, постой, лето опять придет, прилетит она опять на прежнее место выводить яйца!..»

И мальчик, озираясь на стороны, старался заметить камень, земляной выступ, овражек против куста с гнездом, чтобы не обознаться, когда придет время прямо напасть на след.

А между тем щеки долины расходились, склоны с обеих сторон понижались, каменистый грунт заметно делался мягче и покрывался травой, по которой плавно теперь, без пены и шуму, спускался ручей. Вскоре открылись пространные луга, кой-где замкнутые лесистыми холмами. Вся эта плоскость, залитая тем же блестящим, хотя холодным сиянием, казалась совершенно гладкою; нигде не было видно деревушки. Но тут и там подымались вдалеке тонкие струйки дыма. Несколько ближе, хотя очень еще далеко, выступало строение с высокой остроконечной кровлей, которая вырезывалась синеватым треугольником под сверкающим краем горизонта. Еще ближе возносилась группа ветел; между

головастыми их стволами и сквозь голые су-
чья мелькал на солнце бревенчатый новый
амбар с лепившимися к нему избою и наве-
сом. Ручей, откинувшись от дороги, делал два,
три поворота, пропадал раза два и снова свер-
кал у ветел; дорога шла прямо к амбару. При
виде старых ветел и амбара рассеянный, бес-
печный вид мальчика исчез тотчас же; он
снова как будто вспомнил о чем-то и теперь
уже с озабоченным и совершенно деловым
видом ходко пошел вперед.

Мало-помалу не в дальнем расстоянии за
ветлами показался берег реки, тянувшийся
прямо к строению с высокой кровлей, мель-
кавшей в отдаленье. Ручей бежал к реке; но
прежде чем с нее скатиться, он замыкался
плотиной и наполнял небольшой пруд, обса-
женный с одного бока ветлами; к тому же бо-
ку примыкал амбар, изба и плетни с навесом.
В летнее время все это должно было пропа-
дать в зелени, но теперь опавший лист позво-
лял рассматривать два водяных колеса, при-
крепленных к амбару, и под ними дощаной
желоб; сквозь щели досок просачивались
длинные серебристые водяные нити, между

тем как с дальнего конца желоба каскадом ниспадал водяной стержень, обдававший пеной всю нижнюю часть амбара. Вода, очевидно, пущена была от избытка, потому что колеса оставались неподвижными. Пруд сверкал, как зеркало; и на незыблемой его поверхности ясно отражались стволы ветел с их прутьями, часть плетня, калитка в плетне и ярко освещенный амбар с его кровлею, обсыпанною мучной пылью; место, где вода из пруда устремлялась в желоб, представлялось неподвижною стеклянною массой; быстрота стремления выказывалась только утками, которые, как ни спешили двигать красными своими лапками, но все-таки едва плыли против течения.

Обогнув пруд (дорога проходила по той стороне пруда и упиралась прямо в ворота амбара, которые были теперь заперты), Гришутка ступил на гибкую доску, брошенную через желоб против калитки. В другое время он, конечно, не преминул бы поугагать уток, и без того уже бившихся из сил, чтобы выплыть из стремнины; не преминул бы также остановиться посреди доски и покачаться над

водою, в которой представлялся он стоявшим вверх ногами со своим бочонком, – но, надо думать, не до того теперь было. Он суетливо перешел доску, поглядел сначала в щель калитки и, приняв вдруг решительное намерение, вступил на дворик мельницы.

II. Семейная радость и приготовления

— Это ты, молодец?.. Что долго так? А я думал — ноги твои быстрые; думал — духом слетаешь...

Голос этот, несколько надорванный, но снисходительный какой-то и очень мягкий, принадлежал старичку, который сидел под навесом двора верхом на обрубке бревна и работал что-то топором. Именно только такой голос и мог принадлежать этому старику; он как-то шел к нему, отвечал его кроткому, ухмыляющемуся лицу, дополнял, если можно так выразиться, то впечатление, которое производил старик с первого взгляда. Прозвучи голос его хрипло, как тупая пила в гнилом дереве, или раздайся, как из бочки, это было бы то же, как если б воробей гаркнул по-вороньему. Если хотите, старик наружным видом своим отчасти даже смахивал на воробья: те же прыткость и суета в движениях, такой же вострый нос и быстрые глаза, те же, относительно, разумеется, личные размеры; разли-

ца сходства состояла в том собственно, что воробей весь серый, тогда как у старика серыми были одни брови; волосы его белели, как снег, и рассыпались волокнистыми, как трепленный лен, прядями по обеим сторонам маленького, но чрезвычайно умного и оживленного лица.

– Что ж так долго, а? – повторил старик, поглядывая на Гришку.

Нельзя сказать, чтобы мальчик очень смутился; он запнулся, однако ж, не нашел, что ответить и, чтобы поправиться, поспешил спустить с плеч бочонок и поставить его на вид.

– Это-то я вижу... вижу... – промолвил старик, потряхивая головою, – да был долго за чем?.. вот что...

– Бабы, дядюшка... задержали... они все...

– Какие бабы? – спросил удивленный старик.

– Лен на лугу вязали. Я иду... а они... они и давай привязываться. Я и то все в бежки... почитай, всю дорогу... ничего с ними не сделаешь!.. Озорные такие...

– Какие же это бабы?.. С чего ж бы им так-

то привязываться... Ну, брат, тут что-то не ладно. Шишковато больно говоришь! Не ладно что-то, Гришунька...

При имени «Гришунька» неловкость мальчика мигом пропала. Он знал очень хорошо, что когда старик хотел бранить его или вообще был не в духе, то звал его всегда Гришкой, Григорием; когда же был в духе, другого названия не было, как Гришутка, Гришаха или Гришунька. Пора было привыкнуть мальчику к таким оттенкам: он жил у старика третий год; он приходился родным братом его снохи, и старик взял его у родителей с тем, чтобы приучать исподволь к мельничному делу.

– Ну, что ж смотришь-то? а?.. – подхватил старик. – Бочонок принес, ну и ладно; чего глядишь-то?.. Али что здесь в диковинку?

– Нет, дядюшка, смотрю: где ж это собаки-то наши? – возразил мальчик, к которому снова возвратилась его ветреность и рассеянность. – Собак не видать...

– Эк забота припала... собак не видать!.. А!.. Волки съели.

При этом старик осклабил беззубые свои десны и засмеялся. По всему было видно, что

находится он в отличном расположении духа; веселость светилась в его глазах, проглядывала в движениях седой головы, которая самодовольно покручивалась; тесно было, казалось, веселости в груди его, и она вырывалась оттуда сама собою.

– Поди, о чем сокрушается: о собаках! Эх, паренек, паренек!.. Вот уж подлинно: молодое – зелено!.. Чем собак-то высматривать, – они, слышь, за Петрухой побежали, не пропадут, небось! – ты погляди-ка сюда лучше, сюда погляди. Совсем, почитай, уж покончил... Ну, что, хорошо ли?..

Предмет, на который указывал старик, действительно заслуживал внимания: из-под навеса, бросавшего густую тень на двор, высывался длинный гибкий шест; в конец шеста проходило старое ржавленное кольцо, от кольца спускались четыре коротенькие веревки, которые расходились и прикреплялись концами к углам деревянной рамы, обшитой внутри посконной холстиной и представлявшей подобие неуклюжего мешка.

– Ну, какова штука-то, ась? – сказал старик, пригибая несколько шест веревками и вдруг

выпуская их из рук, причем рама и мешок начали прыгать.

– Что ж это, дядюшка? – спросил мальчик, следя за эволюциями мешка и рамы.

– А что ты думал?

– Качка?

– Хе, хе, хе!.. – залился старик. – Знамо, что качка, а не амбарный ящик. Ну, молодец, сказывай: хорошо, что ли?

– Хорошо, дядюшка!

– Эвна! Эвна! Эвна! – произнес старик, снова приводя в движение люльку и подпираясь ладонями в бока. – Эвна! Знатно будет лежать нашему молодцу!.. Подобью еще дно войлочком, да тюфячок положим... Вот тут еще маленько веревки того... сам вижу – криво, все вправый бок забирает. И тогда повесим!.. Хорошо будет спать моему внучку и твоему племяннику, Гришутка; словно в лодочке! Не ворохнется.

Тут ухмылявшееся лицо старика сделалось вдруг серьезным; он отвернулся и склонил голову.

– Дай только господь пожить ему, сердечному... Создай такую милость, царица небес-

ная!.. – произнес он вполголоса, крестясь медленно, с расстановкой.

Гришутка, не спускавший с него глаз, машинально снял шапку.

– Ты, Гришаха, не встречал дорогой Петра? – спросил старик, расправляя брови.

– Нет, дядюшка.

– Что-то все вы нонче как замешкались? День такой: хлопот полон рот, а они ухом не ведут... точно, право, зарок дали...

– Вот он никак, дядюшка... Вот едет! – крикнул Гришка и побежал отворять ворота, за которыми слышался шум подъехавшей телеги.

Щелкнул деревянный засов, ворота пронзительно закрипели, и в темном дне навесов открылся вдруг ярко сияющий квадрат с лошадью на первом плане, тележкой и сидевшим в ней молодым парнем. Но прежде чем Гришка успел взять лошадь под уздцы, его чуть не сшибли с ног две собаки: одна серая, большая, похожая на волка; другая несколько меньше, черная, с желтыми зрачками, полужаслоненными шершавыми бровями, покрытая вся взъерошенными завитками, делавшими ее похожею издали на мячик, обшитый

черным мохнатым бараном.

– Дядюшка дожидает, – сказал Гришка, отбиваясь одною рукою от собак, другою хватаясь за поводья.

– Да, пора бы! Давно пора! – отозвался старик с другого конца навеса.

Телега въехала на двор. Из нее вылез светло-русый малый, лет двадцати семи, среднего роста, но плотный, приземистый, дышащий силою и здоровьем. Это был сын старика и муж Гришкиной сестры. Насколько брал он против отца силой, настолько, казалось, уступал ему в расторопности, живости и той быстрой сметке и смышлености, которая отражалась в глазах и каждой черте старика. Малый поглядывал даже несколько простаком, но, впрочем, был усердный помощник отцу, надежная, плотная опора его старости; малый он был кроткий, покойный, честный; свойства эти явно отпечатывались на его широком круглом лице, опущенном снизу бородкой, сквозь которую просвечивали толстые, добрые губы и время от времени сверкал ряд зубов белизны ослепительной.

– Что так поздно? – спросил старик, выходя

к нему навстречу.

– Ничего не сделаешь, батюшка, – смиренно возразил сын, – Василья дома не было: пришлось обождать.

– Ну, что ж, купил?

– Купил, батюшка, все купил, что ты наказывал: солонины один пуд, баранины двадцать фунтов, масла и гороху на кисель...

– Много, чай, рассорил денег-то? – спросил старик, прищуриваясь.

– По той цене взял, как ты сказывал...

– Вот это хорошо!.. Эй, тетка Палагея! Подь к нам! – закричал старик, суетливо обращаясь к крылечку избы.

– Иду, кормилец, иду!.. – прохрипел голос в сенях, и появилась затем старушка со впалую грудью и лицом, сморщенным, как чернослив.

Старик взял ее из Ягодни на все время, пока лежать будет сноха его; сверх обычных хлопот по хозяйству, Палагея обязывалась за два с полтиной состряпать крестинный обед, назначенный на завтра.

– Ну, тетка Палагея, стряпня твоя приехала!.. Бери, кроши, повертывай – да в печку

ставь!.. Готовы ли горшки-то?..

– Готовы, касатик!.. У нас духом-летком! Было бы из чего, родимый, – за мною дело не станет... Не смигнешь, – все представлю в твое удовольствие!.. – бодрясь, говорила старуха, подходя к телеге и принимаясь вытаскивать кулечки.

– Гришутка, полно тебе с собаками-то возиться!.. Вишь, время нашел! Подсоби тетке Палагее в избу таскать... Ты, Петруха, – присовокупил старик, понижая голос и указывая глазами на старуху, – ты за нею поглядывай... баба-то острая; не доглядишь – и крупичицы себе отсыпет, ветчинки отрежет, и маслица отольет... Хозяйке твоей, знамо, не до того теперь, – с малым возится... Ну, а у священника был?

– Был.

– Что ж он?

– Как обедня отойдет, говорит, тут и окрестим, приезжать велел.

– Ну, а к свату Силаеву и куму Дрону заезжал звать их?

– Нет, батюшка, не успел... Василий добре задержал меня с покупками... Я схожу к ним,

как уберусь.

– Да, малый ты с затылком! Рази у нас одно это дело-то?.. Ну, да ладно; авось там справимся как-нибудь... Пока ты в село пойдешь, а я за вином съезжу: Гришунька бочонок принес. Ну, и я без тебя не сидел скламши руки... погляди-ка поди, – примолвил старик, лодводя сына к люльке и снова приводя ее в движение: – Эвна! Эвна! Эвна как! Хорошо, что ли?

– Хорошо, батюшка... Я, батюшка, как по лугу ехал, повстречал три воза из Протасова; к нам на мельницу едут; скоро, чай, будут... Встретился также Андрей со мною...

– Какой Андрей?

– Да наш, из Ягодин... Схоронил ноне опять парнишку; последнего схоронил...

– Что ты!.. Экой горький этот мужик, право! И что за диковина такая: не стоят у него ребята да и полно! Все в одно время, почитай, решились, в одну осень нынешнюю... И бедность-то, да и горе-то... Что ж, не сказывал он, зачем шел? – заключил старик, посматривая вопросительно.

– Нет, не сказывал; никак мешок нес с рожью; должно быть, молоть идет.

– Гм! Гм! Хорошо все это, только не по времени; право, недосуг; бог с ними совсем и с возами-то! Сидишь, бывает, делать нечего, никто не едет; ноне хлопот не оберешься, – все как нарочно повалили...

– Я, батюшка, схожу пока хозяйку проведаю, – перебил сын.

– Ступай!.. Я здесь поуправлюсь... вот качку надо еще приладить... Эй, Гришунька! Эй!

– Что, дядюшка?

– Распряги лошадь, поставь ее на место, а телегу отодвинь – сейчас воза приедут!

Мальчик побежал к лошади; старик снова уселся верхом на обрубок и начал тесать колышки, предназначавшиеся для распорки рам на люльке.

Лошадь была уже распряжена, и мальчик возился с телегой, когда в светлом отверстии отворенных ворот показался Андрей, тот самый мужик, который хоронил ребенка. С первого взгляда Гришка не признал его: Андрей был очень высок ростом, но теперь, согнутый в дугу под тяжестью мешка, перекинутого через плечо, казался он маленьким человеком. На нем были те же лохмотья; к ним теперь

присоединялась еще шапка, которой не было у него на кладбище. Медленным, отягченным шагом пошел он прямо к старику, шагов за пять 'снял он шапку; несмотря на холод, лоб его был совершенно мокр, и черные волосы свивались на лбу и висках.

– Бог помочь, Савелий Родионыч! – сказал он, сбрасывая мешок наземь.

– А! Здорово, брат Андрей... здорово!.. – сказал старик, насаживая топор в обрубок и вставая. – Слышал я о твоём горе, слышал! Сын сказывал! Как быть-то, брат, как быть!.. Знать, так господу богу угодно... Его, знать, воля святая, – подхватил он с сожалением. Частью также старик повел такую речь с умыслом: он не сомневался, что Андрей пришел с какою-нибудь просьбой, и хотел ему не дать на это времени; старик был «крепковат в счетах», как говорят в простонародье.

Андрей слушал, свесив руки и потупя голову; красивое лицо его, побледневшее от усталости, изрытое нуждою и лишениями всякого рода, выражало глубокую скорбь; но в скорби этой было что-то покорное, тихое; он, как видно, свыкся с ударами рока, не возмущался

ими, и если слезы текли по ранним его морщинам, так это было совершенно против воли; не мог он никак совладать с ними.

– Да, – проговорил он с расстановкой, – да, Савелий Родионыч, господь последнего взял... Один был... и того теперь нету, сирота стал, Савелий Родионыч, как есть сирота теперь...

Он не договорил, отвернулся и отер лицо изнанком ладони.

– Да... Как быть... власть божья!.. – промолвил Савелий тоном, сквозь которой проглядывало эгоистическое чувство счастливого человека. – У тебя вот господь, творец милосердный, отнял, а мне дал! Ты ноне, Андрей, схоронил детище, а у меня ноне в ночь внучек родился! Семь лет ждал, молил господа, – не было; а теперь послал господь!.. Власть божья! Его не переспоришь... Ведь у тебя было никак всего трое ребят? Один, помнится, косинькой такой, маленечко еще на ногу припадал... нога-то с кривинкой была... Этот, что ли, помер?

– Этот, Савелий Родионыч...

– Ну, эгот, господь с ним! Обиженный был человек... Не был бы тебе помощником... Ка-

лека был!

– Нет, Савелий Родионыч, этого мне жалче... Других хоронил, словно не так горько было!.. Косинького всех жалче, Савелий Родионыч!.. Уж так-то жалко... кажись... Пришел в избу, гляжу – нет его, нет Егорушки, вспомнил... нндо даже от сердца оторвалось у меня... Косинького всех жалче!..

– Что говорить... последний был; своя полуса мяса!.. Что говорить! – сказал Савелий, поглядывая на стороны. – Ты, брат Андрей, не серчай на меня... Ей-богу, некогда... недосуг нонче... У нас ноне хлопот-то и-и-и!..

– Я за делом к тебе, Савелий Родионыч...

– Гм! Какое же твое дело?.. Коли можно...

– Да помолоть пришел... один мешок всего...

– Ну, что ж, засыпай!..

– Только... нельзя ли как-нибудь, Савелий Родионыч... Как перед истинным богом говорю: нет у меня ничего... от похорон гроша не осталось... за помол отдать нечего...

Савелий поморщился и почесал затылок.

– Сделай целость, Савелий Родионыч!.. Право, на хлебец, на один хлебец муки нет...

Савелий смотрел в землю и пожимал губами.

– Дядюшка, к нам возы едут! Три воза! – крикнул Гришка, стоявший в воротах.

– Вишь, тебе господь бог посылает, Савелий Родионыч! – вымолвил Андрей.

– Н... ну бог с тобой! Засыпай! Ступай только скорее, пока те не подъехали, – сказал старикашка, приняв снова свой добродушный вид. – Гришутка, отцепи колесо поди, – у первой снасти!..

Минуты две спустя внутри амбара послышалось шипенье жернова, который вскоре разошелся и пошел порхать, посылая из амбарной двери легкие клубы мучной пыли.

– Петрунька, – сказал Савелий, останавливая сына после того, как возы въехали на двор, установились и пущена была в ход вторая снасть, – как же нам, слышь, быть теперь?

– Что ж, батюшка?

– Ты идешь в село теперь на крестины звать; может, там опять промешкаешь; до вечера, может, пробудешь; дни теперь короткие... Тут вот эти, прости господи, приехали! – прибавил он, указывая глазами на подводы, –

мне от них отойти нельзя никак. А кто же теперь за вином-то поедет?..

– Пошли, батюшка, Гришку, – он съездит!

Старик пожал губами и покачал головою.

– Что ж такое? – продолжал сын. – Разве мудрость какая! Подал деньги целовальнику – и все тут; бочонок ведь ведерный, обмерить нельзя: дело все на виду...

– На виду-то, на виду... Оно так... Да малый-то... думается, того... Ну, да ладно, ступай!.. – произнес Савелий, одумавшись. – Эй, Гришка, – крикнул он, когда Петр исчез в воротах, – поди запрягай лошадь; смотри только, как дугу надевать станешь, мне скажи, сам не затягивай...

– Дай я подсоблю ему, – сказал Андрей, выходя из амбара, – мне пока делать нечего.

Он пошел навстречу мальчику, который вел уже лошадь. Когда подвода была готова, Савелий велел Гришке надеть шубенку и взять шапку. Тот вытаращил сначала удивленные глаза; но потом, как будто вместе с этим приказанием соединилось для него великое счастье, полетел в избу и разом даже перескочил через все ступеньки крылечка.

– Посылать его хочешь? – спросил Андрей.

– Да, вина взять па завтра, – возразил Савелий, запуская с озабоченным видом руку за пазуху и вынимая оттуда кожаный кошель. – Что это, как вино стало у нас ноне дорого! Четыре целковых за ведро... Виданное ли это дело!.. И добро бы вино-то было хорошее, спорое... а то леший их знает, прости господи, чего туда подливают, разбойники!.. Бывало, два с полтиной платили; теперь хуже стало, а все четыре целковых отдай... Беда да и только!..

– Все теперь вздорожало, Савелий Родионых, за что ни возмись, все дороже.

– Охо-хо! – говорил Савелий, высчитывая на ладони деньги, – стало, уж времена такие пришли... времена такие тугие... Такие времена!

Надеть полушубок и схватить шапку было для Гришки делом одной минуты; он возвратился на двор прежде еще, чем старик успел сосчитать деньги.

– Дядюшка, я здесь! – сказал он, торопливо застегивая на ходу верхнюю пуговицу у полушубка и любопытно поглядывая то на лицо старика, то на ладонь с деньгами. – Я здесь,

дядюшка!.. – повторил нетерпеливо мальчик.

– Вижу... вижу! Шесть гривен, да полтина... да двугривенный... – бормотал старик. – Возьми бочонок, Гришутка, положи его в телегу, – прибавил он мимоходом и возвышая голос. – Еще три четвертака... Всего четыре целковых... Вишь ты эти деньги? – заключил он, обращаясь к мальчику.

– Вижу, дядюшка!

– Что ж ты видишь-то?

– Деньги, дядюшка!

– Да сколько их?

– Не знаю...

– То-то же и есть!.. Прыток больно... Ох уж ты у меня смотри... Слушай, тут четыре целковых, – продолжал старик, копотливо завертывая мелкую монету в две замасленные рублевые бумажки, – смотри, не оброни!..

– Нет, дядюшка, в руке держать буду: не выпущу!

Савелий покачал головою, молча расстегнул ему полушубок, ощупал овчину внутри, опять покачал головою; молча потом снял шапку мальчика, внимательно осмотрел тулью, приподнял ее и, вложив туда деньги,

крепко опять надвинул шапку на голову Гришки.

– Смотри у меня, не сымать шапки дорогой! – сказал он. – Поедешь теперь в кабак, возьмешь там ведро вина, скажи целовальнику: «Бочонок-то ведерный, видно будет, как обмеришь!..» Постой! – возвысил голос старик, видя, что мальчик бросился к телеге, – погоди! Эк его носит как!.. Знаешь ли еще, где кабак-то?

– Как же, дядюшка! Как не знать... я рази впервой... кабак за рекою...

– Погоди!.. – перебил старик, выказывая, в свою очередь, нетерпение, – постой!.. Эк его носит!.. Ну, что ты похваляешься-то? Что похваляешься? Кабак, знаю; за рекою... Да ведь за рекою-то у нас два кабака; как проедешь реку, от перевоза будут две дороги; одна пойдет влево, другая прямо, налево не ездят; ступай прямо... слышишь?

– Слышу, дядюшка!

– А коли слышишь, садись да поезжай; вот еще что: смотри у меня, лошадь не гнать! Приедешь домой, я погляжу: коли потная она, вихры намну!.. Помни же, что сказано: шапки

не сымай дорогой; как в кабак приедешь, тогда только сыми...

Последние слова сказаны были мальчику, когда он сидел уже в телеге и держал вожжи. Андрей взял лошадь под уздцы и вывел ее из ворот. Гришка свистнул собаке, которая полетела за ним, и вскоре собака и телега пропали из виду.

– Андрей, – крикнул старик, когда тот возвратился, – побудь пока здесь в амбаре; погляди за помольцами, на минутку в избу схожу, сноху проведаю, погляжу на внучка...

– Ладно, Савелий Родионыч.

– Постой!.. Поди-ка сюда... – вымолвил старик, направляясь к той стороне навеса, где висела люлька, – ты, брат, повыше меня, достанешь без подставки... сыми кольцо с шеста... кстати, уж заодно пойду качку в избе прилажу... Погоди! – присовокупил он, оставив одной рукой Андрея, другой рукой приводя в движение люльку, – теперь, кажись, ровно идет. Эвно! Эвно!.. Ладно, сымай теперь!

Андрей исполнил его просьбу.

– Побудь же пока в амбаре-то, – повторил

дядя Савелий.

И, пропустив кольцо в костлявые свои пальцы, вытянув руки, чтобы дно люльки не тащилось по земле, он поплелся в избу, сохраняя во все время на лице самодовольную улыбку.

III. Маленькая биография маленького человека

Эпоха, в которую родился Савелий, относится к весьма отдаленному времени. Лучшим доказательством этого служит то, что помещики имели тогда право продавать крестьян своих поодиночке. Теперь, благодаря просвещению, которому так справедливо удивляемся и мы, и европейцы, – право продажи душ поодиночке не существует.

Теперь крестьяне продаются не иначе, как целым семейством: оно и человечнее, и даже выгоднее.

Соседу понравился, например, ваш столяр; он предлагает за пего очень выгодные условия.

– Человек отличный, – говорите вы с одушевлением, – превосходный! Клад – не человек! При случае, он может даже красить крыши, составлять лаки... жена его также отличная женщина...

– Но жены его и детей мне не надобно, – возражает сосед, – я хочу иметь одного только

столяра; он один мне нужен...

– Без жены и детей я не могу... не могу! – говорите вы с убеждением, – разве не знаете вы, что я уже не могу этого сделать...

– Делать нечего, продайте всю семью... мне собственно все равно!.. Но в таком случае денежные условия останутся те же...

– Что вы! Что вы!.. Христос с вами!.. – говорите вы, пораженные бесстыдством и наглостью соседа. – Жена его отличная прачка; она даже тонкие кружевные воротнички стирает! Отпустите ее на оброк, – она принесет вам верных пятнадцать целковых!.. Наконец, у него есть еще мальчик лет двенадцати, удивительный мальчик! Самоучкою выучился грамоте, пишет, как писарь, почерк чисто каллиграфический... у меня в семействе даже зовут его каллиграфом... Словом, замечательный мальчик! Года через четыре-пять он принесет вам рублей тринадцать оброку, если не больше!.. Я бы никогда не расстался с этим ребенком и его матерью... Я уступаю их единственно потому, что отец мне не нужен, а так как по закону одно лицо продать невозможно, решаюсь уже заодно продать все семей-

СТВО...

Соседу столяр нужен до зарезу, он предлагает, сверх положенной суммы за отца, кое-что за мать и сына, – и вы остаетесь, следовательно, в барышах против того, как было бы при продаже одной души. Но все это дело постороннее и выставлено здесь единственно в защиту успеха нашего просвещенного века.

Савелий Родионыч принадлежал к другой губернии, а не к той, где теперь находился. Семь лет от роду продан он был на своз вместе с отцом и матерью в село Ягодню, где в то время земли было вчетверо против числа душ. Переселение из родины на новое место совершилось очень благополучно; не обошлось, конечно, без слез, воплей и даже криков отчаянья при разлуке, нельзя же: сердце не камень! Привелось прощаться с родными, которых никогда больше не увидишь, привелось расставаться навеки с погостом, на котором покоились кости отцов, и прочее. Но нет такого горя, которое не умялось бы временем. Поплакали – и перестали. Семейству Савелия выстроили избенку и отвели землю. Местность Ягодни, воздух, вода, жизнь при то-

гдашнем помещике – все было лучше, чем на родине. При всем том, переселенцам как-то не посчастливилось на новом месте. Мать Савелия видимо чахла; к началу осени слегла она, а к концу отдала богу грешную свою душу. На второй год Савелий остался круглым сиротою, потому что отец его тоже «переселился», то есть переселился в такой край, откуда никакой помещик – предлагай он хоть все свое состояние – не мог бы уже достать отца Савелия.

Сирота начал переходить из одного семейства в другое. На вызов управляющего, нет ли желающих взять мальчика на воспитание, многие семейства изъявили величайшую готовность; мальчика отдавали, но вскоре явилась необходимость отнять его у воспитателей: одни заставляли пахать его на восьмилетнем возрасте, другие отдавали его внаймы в соседнюю деревню, третьи выказывали явное намерение воспитать его для той цели собственно, чтобы отдать за сына в солдаты, когда придет очередь, и так далее. Такие распоряжения не отвечали видам управляющего, который, к счастью, был человек рассуди-

тельный и, главное, очень добрый. Он решил-ся испробовать еще раз и отдал сироту одино-кому мужику, жившему с женою. Мужик брался воспитать мальчика; он обещал даже усыновить его. На этот раз можно было, ка-жется, положиться на воспитателей. Несмот-ря на крайнюю бедность новых хозяев маль-чика, они не посылали его ни пахать, ни отда-вали внаймы соседям. Жизнь Савелия пошла не в пример лучше прежнего. Вскоре начал он свыкаться с хозяевами; мало-помалу и те стали привыкать к нему. Мальчик был, впро-чем, славный, хотя надо сказать (и в этом ста-рик и старуха сознавались с сокрушенным сердцем), – он поедал у них множество хлеба. «К росту, что ли, он так, или прежде добре уж голодал много, – говорили они, – но только съедает – Христос с ним! – словно взрослый! Не напасешься никак!..»

Год от году, однако ж, меньше каялись они, что взяли его, и меньше жалели хлеба. Хлеб шел впрок мальчугану; он рос, крепчал, привязывался к старикам и вместе с тем, не шутя, делался им полезен. На тринадцатом году он свободно уже управлялся с сохою; и

это вовсе не потому, чтобы много понукал хозяин, но по своей охоте. В прежнее время, когда выходила старику Очередь ехать в ночную, или отрывали его другие мирские и барские дела, – поле его часто гуляло (батрака нанять было не на что), собственные работы его останавливались, плетень оставался недоплетенным, лошадь неприбранною и прочее; теперь он оставлял малого, и если последний не приводил дела к полному успеху, то, по крайней мере, все же хоть сколько-нибудь подвигал его. И все делалось у него как-то скоро, охотно, весело, все как-то давалось ему и спорилось в руках его. Старик занимался несколько плотничным ремеслом; Савелий любил присматриваться к такой работе. Лет пятнадцати он владел топором ничуть не хуже своего воспитателя. Прошел год, другой. Около этого времени в Ягодне перестраивали церковь, которую мы видели. Савелий попал в число плотников.

Выбор этот определил, можно сказать, судьбу его. Церковь перестраивалась своими мужиками, но ими заведовали два испытанных егорьевских плотника. С первых же дней

заметили они, что никто не строгал досок глаже Савелия, никто так чисто не выводил желобков для стока воды, никто не был так сметлив, ловок и смел с топором и на подмостках. Они дали ему рубить углы и потом посадили за рамы. Но где особенно отличился Савелий, так это когда пришлось убирать узорчатыми подзорами наружные стены и церковные навесы. Он выдолбил в доске такой красовитый узор, что все только ахнули и решили, что лучше не выдумать. Теперь уже не существуют эти деревянные фестоны, служившие когда-то лучшим наружным украшением церкви; обливаемые дождем в продолжение пятидесяти лет, съедаемые червоточинной и плесенью, они истребились совершенно; в одном только месте, с восточной стороны церкви, там, где алтарь и где теснятся могилы, осталась еще одна – серая тесина с треснувшим и полуосыпавшимся узором; но и этот последний остаток висит уже на одном гвозде в день ого дня грозит упасть на ближнюю могильную плиту и рассыпаться в прах.

Слухом, говорят, земля полнится. В окрестностях сделалось известным, что в Ягодне на-

ходится ловкий плотник; слух не замедлил проникнуть на мельницы, которых тогда уже было довольно много в околотке. Мельники стали звать Савелия.

– Что ж, батюшка, – сказал Савелий, когда старик завел речь об этом предмете, – коли ты с матушкой отпустите, я бы пошел, пожалуй; плотничья работа далась мне; супротив всякого другого дела имею я к ней охоту... Сдается мне, худобы для дома от этого никакой не будет; емельяновский мельник сулит от святой до заговенья сто тридцать рублей; восемьдесят рублей отдашь батраку; земли у нас не бог знает сколько, он с нею управится; ты маленько еще подсобишь... Значит, пятьдесят рублей в доме останутся! Как умом ни раскидывай, все, значит, в барышах останешься.

Такая речь пришлась старику по душе и по разуму. Савелий отправился. Лишним считаю распространяться о том, как жил Савелий на емельяновской мельнице. Достаточно сказать, что на второй год мельник сулил ему не сто тридцать, а сто восемьдесят, лишь бы остался работник. Одна из причин, почему

жалованье усиливалось, заключалась отчасти в том также, что соседние мельники старались всячески переманить к себе работника. Такие обстоятельства достаточно, кажется, говорят в пользу Савелия.

На десяти мельницах, по крайней мере, известно стало, что лучше емельяновского плотника не сыскать по округу: емельяновские колеса его изделия пошли в славу столько же по чистоте отделки, сколько и потому также, что, принимая меньше воды, вертели так же скоро, как прежде. Малый, сверх того, был на все руки: хочешь, приставь его к прудке, вели толчею в ход пустить, пошли на базар с мукою или дай приглядеть за помольцами – ни в чем не сплехует, ко всему горазд, нигде не покривит душою; и малый-то какой: хмелем не зашибается, нравом кроткий, хозяйина всегда готов уважить – словом, клад, а не работник! Савелий остался у прежнего хозяйина; с него пошел он в ход, и не хотелось идти ему на новое место, тем более, что на первом он привык и давали ему столько же жалованья, сколько и на вторых.

Маленькое хозяйство старика и старухи

год от году между тем поправлялось. Савелий вовремя высылал им деньги и никогда копейки от них не утаивал.

– Вот, батюшка, – скажет, – здесь трех делковых с пятьалтынным не в достаче; ты не сумлевайся: два целковых пошли на полушубок; вот гляди: на спине протерлось... новую овчину вставил, да на локти еще... Один целковый отдал за сапоги. А за пятьалтынный ты, батюшка, не серчай: набивной платок купил... в праздник, знамо, поразгуляться захочешь, повяжешь на шею... у нас все так-то ходят; не хотелось супротив других-то... словно совестно!..

Батрак, заступивший место Савелия, попался хороший: поля не стояли, обрабатывались; не то что прежде, когда, бывало, старик, отвлекаемый то миром, то барщиной, не успевал управиться со своими делами. Хлебушка было теперь вдостачу; оставалось даже на продажу.

Но человек так уже сотворен, видно, что никогда не доволен настоящим. Сколько провидение ни расточай на него благ своих, сколько ни балуй его, он все-таки стремится

получить больше, все-таки продолжает документировать провидению, прося у него новых даров, нового счастья. То же было и со стариками – приемными отцом и матерью Савелия. До преклонных годов терпели они нужду горькую, бедность; господь сжалился над ними: утолил их нужду, утешил их старость, послал им сына – подпору; положим, сын не был родной, но не все ли равно, когда жил он с ними и радовал их, быть может, лучше всякого кровного! Так нет же! Стоило только поперить-ся старикам, стоило им порадоваться над Савелием и возблагодарить за него бога, – начали они воссылать к нему новые мольбы, начали давать волю новым мечтаниям! Утром, вечером ли, короче сказать, когда ни встречались старик со старухой, только и слышно было у них разговору, что вот, дескать, конечно, творец милосердный благословил их всем, послал и сынка, и достаток, но что ко всему этому как словно недостает еще чего-то... Что надо бы теперь поженить сынка-то, надо бы порадоваться на его счастье, надо бы внучат понянчить... и прочее. Слова нет, при существующих обстоятель-

ствах, такие мечтания не были, может стать-ся, заносчивы; теперь любая девка охотно пошла бы в дом к ним; но все-таки не доказывает ли это, что человек, даже преклонный, никогда не успокаивается, вечно будет уноситься мечтаниями и требовать большего.

Дало провидение сына, – нет, мало: давай еще сыну жену, потом внучат и так далее. Старик и особенно старуха начали искать невесту. Ходить было не далеко я недолго; в той же самой Ягодне выискалась вскоре хорошая девушка. Зимой, на побывку, пришел Савелий. Старики поговорили ему, показали девушку; девушка парню понравилась, он согласился – и в тот же месяц сыграли свадьбу. Месяца два пожил он дома, провел рождественские праздники с молодою женою – и снова отправился на работу. Такой уговор был у него с содержателем Бархинской мельницы, слывшей в то время первой мельницей по всей губернии. Савелий получал уже теперь триста рублей в год жалованья. Но счастье не в достатке! Именно: не в достатке счастье. Сколько ни молил бога Савелий, сколько ни просили старики угодников, старуха ходи-

да даже по этому предмету на богомолье, — нет, не давал господь детей Савелию, не давал внучат старикам! На все остальное снизошло благословение; хлеба рождалось много, скотинка велась хорошая: была корова и телка, восемь овец, две лошади; жили они в новой избе и с широкою печью, полатями и перегородкой; остальное строение также все по-исправилось: столбы навесов были новые, плетни стояли стеною, крыша так густо покрыта была соломой, что стало бы ее на три крестьянских двора; сами они, и старики, и сноха, и Савелий, пользовались хорошим здоровьем, — словом, все было так, что лучше и желать нельзя, но детей не давал господь; не рождались дети, да и только! Савелию было уже около тридцати семи лет, когда неожиданно умер его помещик. Наследники поспешили продать Ягодню. Новый помещик приехал в приобретенное. Первым распоряжением его было собрать налицо всех мужиков, работавших на стороне и ходивших по оброку. Савелий только что нанялся тогда заправлять новой какой-то мельницей; он лишился места и, сверх того, должен был еще заплатить

неустойку.

Но мы оставим на время Савелья. Расскажем в нескольких словах историю Ягодин за двенадцать лет. Жизнь крестьянина так тесно связана с положением его деревни; положение деревни находится в такой зависимости от жизни помещика, его взглядов, нрава и образа управления, что, рассказывая историю деревни, или, все равно, историю управления над нею, даешь в то же время возможность судить о житье-бытье самого крестьянина.

Провидение, всегда хранившее Ягодню, спасавшее ее от пожаров, неурожаев, морозных язв и дурных помещиков, казалось, вдруг от нее отвернулось. Так, по крайней мере, говорили и думали крестьяне. В эти двенадцать лет в Ягодне сменилось сряду пять помещиков; все они, как на подбор, принадлежали к классу, известному у нас под именем «помещиков-спекуляторов». К этому классу, благодаря бога, весьма немногочисленному в нашем отечестве, принадлежат большею частью люди темного происхождения; они выходят из семинарий, из уездных судов, из задних рядов гражданской государственной

службы, дослуживаются до секретарей и коллежских советников, иногда больше, и, набив копейку, пускаются приобретать имения с целью закруглить капитал. Такие господа не живут обыкновенно в деревнях своих. Детство их не запечатлено воспоминаниями сельской жизни, – воспоминаниями, которые сердечно привязывают человека к такому-то месту и людям, ему принадлежащим, и заставляют смотреть на все это мимо всяких выгод и расчетов. В глазах помещика-спекулятора имение представляет ничего больше, как капитал, из которого стараются они извлечь по возможности больше процентов; на крестьян смотрят они как на известного рода свеклу, которую чем сильнее нажмешь, тем больше получишь из нее соку. Часто помещик-спекулятор стыдится приехать в свою деревню, потому что дядя его был там дьячком или дворовым человеком. Он посылает тогда управителя, отставного унтера какого-нибудь или знакомого протоколиста, которому протежирует и которого выводит в люди. Из числа помещиков, владевших Ягодней в продолжение двенадцати лет, двое посылали туда

управляющих, три сами являлись и лично занимались управлением. Последние были самые худые. Одни действовали таким образом: не изменяли прежней системы управления, но только удвоили оброки; они уничтожали затыглых и сажали их на оброк; накладывали оброк на девок и ребят свыше двенадцатилетнего возраста; женили семнадцатилетних парней, чтобы увеличить число тягл; известно, что с тягла, то есть с мужа и жены, можно было больше взять, чем с девки и парня. Они продавали на сруб рощи; продавали невест из крестьянских и дворовых девок, продавали скот. Владея таким образом год или два имением, собрав два непосильных оброка, собрав еще один оброк вперед за третий год, ни неожиданно продавали Ягодню. Другими управляла иная система: они уничтожали оброк и сажали имение на пашню; земля и народ не знали отдыха. Правило, назначающее столько-то дней работать на барщине, столько-то на себя, уничтожилось само собою; народ неутомимо работал в полях, работал на кирпич-лом заводе, который вдруг возникал на Ягодне, возил продавать кирпич в город,

пахал, молотил и веял, не зная сна и покоя. Выжав сок из земли и крестьян, разорив вконец имение, помещик наскоро подправлял плетни, покрывал крыши, подкрашивал амбары, воздвигал кой-где красивенькие решетки и, показав лицом Ягодню, выгодно сбывал ее другому, менее опытному из своего же брата. Результатом этих двенадцати лет было то, что Ягодня, слывшая как-то чуть ли не первой деревней уезда, сделалась последней; земля истощена, леса порублены, крестьяне разорены; у многих не только коровы не было, – не было лошади и даже курицы в доме. Большая часть побиралась.

К этому числу не принадлежал, однако ж, Савелий. Он был беден; куда! – следа не осталось от прежнего благосостояния! Но сравнительно с другими, он все еще кой-как пробавлялся. В эту страшную эпоху разоренья мужичку все-таки встречалась надобность поправить угол избы, требовалось подвести ось телеги, починить кадку; бабам нужны были деревянные гребни для мычек, веретена, корыта; никто лучше Савелия не мог исполнить таких дел, и при этом всегда перепадал ему

лишний кусок хлеба. В эти двенадцать лет много, впрочем, изменилось в его домашнем положении: старик и старуха приказали долго жить; но как бы взамен такого горя, господь услышал наконец его молитвы и послал ему сына. Савелий не падал духом. Какая-то внутренняя сила, – быть может, вера в промысл, быть может, природная потребность деятельности, быть может, то и другое вместе, – подкрепила его. Он разгибал спину после барщины и, приходя домой, снова сгибал ее, всегда находя под рукою какую-нибудь работу. Действием этого было то, что он ел хлеб, тогда как другие побирались. Наконец судьба сжалилась над бедною Ягодней. Она попала в руки соседнему помещику, настоящему помещику, – коренному, как называли его крестьяне. Пошли тотчас же другие порядки: имение поступило на оброк не на такой, которого не могли платить крестьяне, но который мог только их поправить. В первое же воскресенье, последовавшее за купчею, церковь Ягодни была полна народу. Старики стояли на коленях; бабы кланялись иконам и плакали; все молились и благодарили творца, внявшего

их грешным молитвам. Обыватели Ягодни вздохнули. Вместе с ними вздохнул, разумеется, и Савелий. Но вскоре вздох радости сменился у него тяжелым вздохом: около этого времени он лишился жены. Правду говорят: не бывает радостей без печали!

Поплакал, погрустил Савелий, но делать нечего, мертвого не воскресишь! Надо было приниматься тянуть как-нибудь житейскую лямку. Сына своего (мальчишке было тогда семь лет) поручил он жениной родне, а сам, перекрестясь, снова пошел ходить по мельницам. Дело было знакомо, сподручно. На мельницах Савелия еще помнили; думали, конечно, что силы в нем поубавилось; думали также, от дела отвык; взяли его больше за прежнюю славу. Сначала сам Савелий так думал, но пожил весну, пожил лето, плечи разошлись, снова явилась прежняя сметка – и пошло по-старому с тою разницею, что разуму теперь и опыту стало в нем больше. Мало-помалу делишки опять начали поправляться. Землю свою передал он до времени мужу родственницы, у которой находился сынишка; избу свою он не только не продавал,

но всячески даже старался ее поддерживать. Когда мальчику минуло четырнадцать лет, Савелий взял его с собою и определил сначала без жалованья на ту мельницу, где сам занимал место первого работника. Между тем, как исправлялся Савелий, поправлялись также другие жители Ягодни; но, не имея ремесла, не одаренные той сметкой и деятельностью, которые отличали Савелия, – они поправлялись медленнее. Только спустя десяток лет Ягодня и ее обыватели пришли в прежнее положение.

Эти десять лет принесли большие перемены в быте Савелия; он женил сына и сам к концу этого срока перебрался домой на житьельство. Ему наскучило, видно, таскаться по чужим местам, хотелось пожить своей волей, своим домком-хозяйством; к тому же и кости состарились, пора было на покой, на отдых. Так рассуждали его родные и соседи. Савелий, надо полагать, думал иначе. Силы его точно истратились (ему минуло уже под шестьдесят), лета ослабили его тело, но не угомонили духа и деятельности. С утра и до вечера копошился он на своем дворе, не переставал ру-

бить, строгать, плести плетни, и ни на минуту престарелые руки его не остались праздными. Но, оказалось, не по душе, не по привычке были старику такие мелкие, мирные занятия; он словно скучал, ел мало, нигде не находил себе места. В свободное время, а такого было теперь много (он считался уже затяглым, один Петр сидел на оброке и платил пятнадцать целковых), в свободное время старик отправлялся обыкновенно к ручью, который огибал луговой скат села, где была церковь, извивался по долине и падал в речку. При этом впадении, когда-то в давние времена, находилась маленькая колотовка; от нее оставались теперь только старые ветлы. Прогулки старика повторялись чаще и чаще. Ни один человек, даже сын и сноха, не подозревали намерений старика. Вскоре все объяснилось; как домашние, так и посторонние узнали, что Савелий был у помещика, предложил ему выстроить на свой собственный счет мельницу, где была прежняя колотовка, предлагал платить за нее вместе с сыном тридцать рублей оброку в год. Так все и ахнули. Но ахов было еще больше, когда Савелий присту-

пил к стройке; особенно, когда заплатил за два жернова двести рублей, да за амбар еще триста.

«Поди ж ты!.. – говорил народ, – кто бы подумал об этом?.. Виду ведь никакого не показывал... А денег-то, денег сколько! Шутка, капитал какой!..»

Капитал был, точно, значительный. Мельница стоила Савелию шестьсот рублей ассигнациями; но это еще не все, оставалось у него про запас еще целковых сорок. Все это, в общей сложности, представляло капитал в семьсот сорок рублей на ассигнации. Действительно, страшная сумма, если принять в соображение, что на составление ее потребовались только всего каких-нибудь десять лет! Конечно, каждая копейка этого капитала досталась потом; для добывания каждого рубля требовалось работать, не разгибая спины; но что могут значить труды сравнительно с таким огромным вознаграждением!..

Простым классом народа вообще управляет рутинная; его пугают всякие нововведения: он боится идти новым путем и редко решается употребить деньги на промысел, на дело,

которым не занимались отцы и деды. Соседи совсем не шутя жалели его, не шутя думали, что он рехнулся. К такому мнению немало способствовали окрестные мельники; Савелий покушался отбить у них помольцев: они досадовали и распускали насчет его предприятия самые неблагоприятные слухи, они старались даже вредить ему более действительным образом: подсылали кидать ртуть в ручей, с целью повредить плотине, которая должна была от этого просачиваться} говорили, что воды ручья недостаточно, чтобы поднять два жернова, что в весенний разлив реки вода пойдет ко двору и снесет мельницу, и прочее.

Но не таков был Савелий, чтобы стал действовать наобум, очертя голову. Зоркий глаз его давно высмотрел местность, сметливый ум исчислил все выгоды и неблагоприятные случаи, долгий опыт научил, как предупредить их. Дело было слишком ему знакомо, слишком много лет из жизни своей употребил он на изучение его, чтобы мог обмануться. Слухи и разговоры прекратились, как только подняты были в первый раз шлюзы,

оба колеса дружно завертелись и жернова пошли порхать так же скоро, как у соседей. Всем известно теперь, что в своем округе мельница дяди Савелия самая исправная, даром что самая маленькая и стоит на ручье, а не на речке: ни разу не прорвалась ее плотина, ни разу не было недостатка в воде, ни разу не подмывала она двора, ни разу не задержался помолец; ко всему этому следует прибавить, что в эти три года помолец уезжал всегда довольный и в разговорах никогда достаточно не нахваливался обычаем маленькой мельницы: там оставляли на распыл меньше муки, чем у соседей, никогда не оттягивали зерен, мука была всегда мягкая и всегда строго наблюдалась очередь, — кто первый заехал, тот и засыпай; не то что в других местах: тот прав всегда, кто больше посулил мельнику.

Год от году жерновам Савелия доставалось больше работы; барышей больших не было, но жить было можно; хорошо можно было жить! Не встречалась, не предвиделась пока надобность трогать запасный капитал, оставшийся после постройки мельницы. Деньги лежали скрытно ото всех в сундуке и радова-

ли сердце предусмотрительного старика. Так было, по крайней мере, до того дня, когда Савелий приготовился к крестинам и делал качку для новорожденного внука, предмета стольких ожиданий и радостей.

IV. Передряга

Бедный Андрей из Ягодни давным-давно Буже отмолол свой мешок ржи и оставил мельницу; мало того, из трех возов, так некстати тогда приехавших, оставался всего один; и все-таки не видно было ни Петра, ушедшего в село с приглашениями, ни Гришутки, уехавшего за вином. Время приближалось к вечеру. Солнце садилось, усиливая с каждой минутой пурпуровый блеск холмов и отдаленных роц, смотревших на запад; с востока, между тем, спускались синие, холодные тени; они бежали как будто от солнца, быстро наполняли лощины и раскидывались все шире и шире по лугам, оставляя кое-где за собою верхушку ветлы или кровлю, которые при блеске заката горели, точно охваченные пламенем, Ветер не трогал ни одним поблекшим стебельком, ни одной соломинкой на кровле; но и без ветра сильно пощипывало уши и щеки. Прозрачность воздуха и ослепительная ясность заката предвещали на ночь мороз порядочный; даже теперь в низменных местах, где тень стучалась, опавший лист и

трава покрывались седою изморосью. Дорога звенела под ногами. За две, за три версты можно было, кажется, различить малейший звук: лай собак в отдаленных селах, голоса на соседней мельнице, шум доски, внезапно сброшенной на мерзлую землю. Но сколько ни прислушивался Савелий, нигде не раздавалось дребезжанья телеги: Гришутка не являлся. Напрасно также глаза старика обращались к долине, по которой вилась дорога: и Петр не показывался. Постояв минуты с две у ворот, Савелий возвращался на двор, заглядывал в амбар, обменивался несколькими словами с помольцем, который домалывал последний воз, и снова уходил в избу.

Изба его была не велика, но было в ней и тепло, и уютно. По случаю стряпни к крестинам, было в ней даже жарко; но это ничего; когда во дворе морозит, чувствуется особенная приятность войти в сильно нагретое жилище. Изба ничем не отличалась от прочих изб: направо от двери возвышалась печь; дощаная перегородка, отделявшаяся от печки небольшой дверцей, упиралась другим концом в заднюю стену. Два окна освещали эту

первую половину; окна смотрели на запад, и заходящее солнце било так сильно в перегородку, печь и на пол, что свет отражался под столом и лавками, оставляя кое-где только непроницаемые пятна тени. В заднем углу, который называется красным, хотя бывает обыкновенно самым темным, виднелись иконы, медный литой крест, кончики желтых восковых свеч и неуклюжий стаканчик из толстого фиолетового стекла; все это располагалось на двух полках, украшенных внутри кусочками обоев, снаружи – грубою, но замысловатую резьбою; стиль резьбы был тот же, что на подзорах, украшавших некогда церковь Ягодни; она относилась, надо полагать, к тому времени и принадлежала тому же долоту и топору. Солнечные лучи, пронизывая маленькие оконные стекла с радужным отливом, золотили пыль, проходившую двумя параллельными полосами через всю избу, и упирались в чугунок с водою, стоявший у печки; над чугуном, в темном, закоптевшем потолке, дрожало светлое пятно, которое дети называют «мышкой». Неподалеку играла кошка и четверо полосатых котят.

Во второй половине, за перегородкой, против печки, помещалась койка, устланная соломой и покрытая войлоком, на котором лежала жена Петра. Под рукою ее висела люлька, приделанная к концу шеста, укрепленного в потолке; младенец лежал, однако ж, не в люльке, а подле матери. Тут находился также шкафчик с посудой, два сундучка и широкая лавка, которую Палагея, хлопотавшая у печки, устала караваями, горшками и пирогами. За этой перегородкой было и тесно, и душно. Тут также было окно, но солнечный луч, встречая множество углов и выступов, цепляясь то за люльку, то за край лавки, то проходя по ряду пирогов, густо зарумяненных яичным желтком, производил здесь страшную пестроту; глаз отдыхал только на верхней части постели, которая тонула в мягком желтоватом полусвете, где покоились голова родильницы и спавший подле нее младенец.

– А-ай да морозец! Знатно завертывает! – сказал Савелий, входя в избу и потирая ладонями, напоминавшими корку старых древесных пней. – Коли так денька два постоит, пожалуй, что и река станет... Эк, нажарили! –

промолвил он, повертывая за перегородку, – словно в бане, право, в бане!.. Только что вот дух другой: пирогами попахивает!.. Ну, сношенька наша любезная (до рожденья внучка он всегда называл ее просто Марьей и вообще не выказывал ей большой нежности), не знаю, что мне делать с нашими молодцами: о сю пору не видать! А давно бы пора, кажется...

– Приедут, батюшка, – слабым голосом отозвалась Марья.

– Вот есть об чем умом раскидывать! – бойко вместила Палагея, гремя в то же время ухватом, – один не нашел, должно быть, хозяев. Пришел: «Дома?» – спрашивает. «Ушел», – говорят; он его дожидаться сел, либо искать пошел... Другой в кабаке сидит; может, народу много – он и дожидает, пока других не отпустит целовальник; знамо: парень малый, больших не перекричит; тот и после пришел, да первый взял...

– Ну нет, не таковский! Шустер, у-у-у шустер! – перебил старик, грозя пальцем на какой-то воображаемый предмет, – небось, в обиду себя не даст, даром невеличек!.. Не об

этом я совсем думаю; думаю: парнишка-то во-
стер очень, не напроказил бы там... Ну, да
вот приедет, спросим, спросим... – добавил он,
как бы заминая речь и подходя к постели ро-
дильницы. – Ну, сно-шенька любезная, как
может, а?

– Ничего, батюшка, бог милостив...

– Все ты меня... к примеру, меня не слуша-
ешь!.. Вот что...

– В чем же, батюшка?

– А хошь бы в том... очень уж много труда
принимаешь... ей-богу! На первых-то порах
так не годится... Ведь вот нарочно качку сде-
лал для малого. Нет, все подле себя его содер-
жишь, все с ним возишься; ну, помилуй бог,
еще заснешь как-нибудь... Долго ли до беды!

– И-и, касатик, – перебила Палагея, – Хри-
стос с тобою! Господь милостив, до греха тако-
го не допустит!

– Нет, бывает! Бывает! – подхватил Саве-
лий тоном убеждения. – Ведь вот случилось
же: выселовская Марфа заспала ребенка-то!..
Коли не это, все равно другой случай может
выйти: заснет она, подберутся как-нибудь ко-
тята, лицо младенцу, Христос с ним! исцара-

пают... Ну, что хорошего! Вас, баб, не вразумишь никак! Ведь вот нарочно качку сделал, нарочно повесил подле кровати: заплакал младенец – протяни только руку, либо, коли не осилишь, Палагея подаст... Опять же теперь другое рассуждение: разве ему не покойнее лежать в люльке, чем на кровати?.. Он, вестимо, не скажет, а уж это всякий видит, что в люльке покойнее! Нарочно для покою и сделана...

Старик нагнулся к младенцу.

– Агу, батюшка, агу! – произнес он, потряхивая сединами и комически как-то сморщиваясь. – Слышь, сношенька... дай-ка, право... дай положу его в люлечку... Ну, что он тут? Кормила ты его?

– Кормила, батюшка...

– Ну и ладно!.. Подь, касатик, подь! – говорил старик, подымая ребенка, между тем как обе женщины молча на него смотрели.

Ребенок был красен, как только что испеченный рак, и представлял пока кусок мяса, окутанный в белые пеленки: ничего не было хорошего; при всем том, морщины Савелия сладко как-то раздвинулись, лицо ухмыля-

лось, и в глазах заиграло такое чувство радости, какого не испытывал он даже тогда, когда удачно запрудил первый раз мельницу, когда пущена она была в ход, когда дешево купил он жернова свои... Поди ж ты, суди после этого, как устроена душа человеческая, и на чем основываются иногда его радости!

Подержав ребенка на руках своих с таким видом, как бы мысленно прикидывая, сколько в нем весу, старик бережно уложил его в люльку.

– Ну, как же не покойнее? – самодовольно воскликнул он, отступая на шаг. – Как же не покойнее?.. Вишь: словно в лодочке... Эвна! – прибавил он, приводя слегка в движение люльку, – эвна! Эвна как!..

– Ах ты затейщик! Затейщик! – говорила между тем старая Палагея, подпираясь локтем в конец ухвата и покачивая головою, – право, затейщик!..

Во время последних этих объяснений слышался шум приближающейся тележки; но Савелий громко разговаривал, Палагея гремела ухватом, внимание снохи поглощалось ребенком и болтовнёю свекра; так что никто

не приметил шума извне, пока наконец телега не подъехала почти к самым воротам.

– А вот и Гришутка! – сказал старик.

В эту минуту со двора раздались такие отчаянные крики и вопли, что ноги присутствующих на секунду приросли к земле. Савелий опрометью кинулся из избы. Петр держал лошадь под уздцы и печально вводил ее на двор; в телеге рядом с Гришуткой сидел человек с худощавым, но багровым и рябым лицом, в высокой бараньей шапке и синем тулупе, плотно перехваченном ремнем.

Савелий узнал в нем кордонного, отставного солдата, охранявшего границу соседней губернии против контрабандного провоза вина. Сердце старика так и екнуло. Кордонный держал за ворот Гришку, который ревел во весь голос и приговаривал, горько всхлипывая:

– Ей-богу, не знал!.. Отпусти!.. Золотой, отпусти!.. Батюшка, не знал!.. Золотой, не знал!..

Лицо Гришутки распухло от слез; они текли ручьями из полузажмуренных глаз и капали в рот, разевавшийся непомерно, должно быть, от избытка давивших его вздохов и рыданий. Шествие закрывал помалец, оставав-

шийся домалывать последний воз; то был маленький черномазый мужичок, очень прыткого, суетливого вида; он, впрочем, как только увидел Савелия, выскочил вперед, замахал руками и, страшно вытаращив глаза, крикнул надрывающимся от усердия голосом:

– С вином попался!.. Схватили!.. Взяли! С вином взяли!..

– С вином попался!.. – печально повторил Петр.

– Как?.. Ах ты, господи! – произнес Савелий, останавливаясь в недоумении.

Шум в сенях и голос Палагеи заставили его обернуться. Марья рвалась вперед на крылечко, так что Палагея едва могла удержать ее; лицо молодой женщины было бледно, и вся она тряслась от головы до ног; увидя маленького своего брата в руках незнакомца, она вскрикнула и покачнулась.

– Куда! Не пускай ее... Петр, держи!.. Ах ты, творец милосердный! Уведите ее скорее!.. – воскликнул Савелий.

Петр бросился к жене и с помощью Палагеи увел ее в избу. В это время кордонный соскочил с тележки.

– Ты здесь хозяин? Ты за вином посылал? – спросил он, обращаясь к старику, который не мог прийти в себя.

– Я, батюшка...

– С вином поймали!.. Эко дело! Ах! Схватили! Взяли! – спешил пояснить черномазый мужичок, снова пуская в ход глаза и руки.

– Точно, батюшка, поймали! – сказал Петр, появляясь на крыльце и быстро спускаясь на двор.

Савелий ударил себя ладонями по полам полушубка и с сокрушенным видом замотал головою.

– Дядюшка... не знал я... Не знал, дядюшка!.. – рыдая, заговорил Гришутка. – Микулинские мельники научили... Сказали: тот кабак ближе...

– Кто ж за вином-то посылал? Ты, что ли? – повторил опять кордонный, дерзко поглядывая на Савелия.

– Мы посылали! – отвечал Петр, потому что отец мотал только головою и бил себя ладонями по полушубку.

– А вы кто такой? – спросил кордонный Петра.

– Я сын его... Я, батюшка, – подхватил Петр, – встрелся я с ними, как они уж к нашим воротам подъехали...

– Сейчас только встрелся! – вмешался опять маленький помалец, – подъехали, – он тут! Смотрю: и я подошел! Эко дело!..

– Об этом после расскажешь, – перебил кордонный. – За вином посылал вот он, – стало, он и ответит... Эки разбойники! – присовокупил он, разгорячась, – свой кабак под рукою... нет, в другой посылать надо!..

– Не знал я ничего!.. На мельнице научили... – промолвил Гришутка, истекая слезами.

– Молчи! – сказал Петр.

Мальчик приложил ладонь ко рту, прислонился лбом к тележке и заревел громче прежнего.

– Да что же это, батюшка... Как же так? – сказал Савелий, нетерпеливо махая рукою в ответ помольцу, который мигал, дергал его за рукав и делал таинственные какие-то знаки.

– С вином попался, – и все тут! – возразил кордонный. – Попался в селе у нас, как только из кабака выехал; вино у нашего старосты осталось, там и печать к бочонку приложили.

– Печать приложили! Припечатали!.. – отчаянно возопил Гришутка.

– Плохо дело! – крикнул помолец, приходя весь в движение. – Затаскают, дедушка, затаскают!.. Лопни глаза – затаскают!..

– А то как же, так, что ли, сойдет? – перебил кордонный. – Известно, проучат! Будешь знать, как в чужую губернию за вином ездить! Сказано: не смей, не приказано! Нет, повадились, окаянные! Нонче поверенного ждем; ему передадут, примерно, все расскажут... Завтра же в суд представят...

До настоящей минуты Савелий бил только руками по полушубку и мотал головою с видом человека, поставленного в самое затруднительное положение; при слове «суд» он поднял голову, и в смущенных чертах его заиграла вдруг краска; даже шея его покраснела. Слово «суд» подействовало также, казалось, и на Гришутку; между тем как шли последние объяснения, он стоял с разинутым ртом, в который продолжали капать слезы; теперь он снова припал опять лбом к тележке и снова наполнил двор отчаянными рыданиями. Петр переминался на месте и не сводил

глаз с отца.

– Вот беду-то накликали! Вот греха-то не чаяли! – произнес наконец старик, оглядывая присутствующих.

Он еще хотел что-то прибавить, но вдруг переменил намерение и быстрыми шагами пошел к маленькой калитке, выходявшей к ручью.

– Послушай, добрый человек!.. Эй, слышь! – сказал он останавливаясь в калитке и кивая кордонному, – подь, брат, сюда... На два словечка!..

Багровое лицо кордонного приняло озабоченный вид; он направился к калитке, показывая, что делал это неохотно, – так, только из снисхождения.

– Послушай, добрый человек, – заговорил Савелий, отводя его к пруду, – слышь, – промолвил он, пожимая губами, – слышь! Нельзя ли как... а?

– Это насчет чего? – спросил тот более смягченным тоном и как бы стараясь взять в толк слова собеседника.

– Сделай такую милость, – упрашивал старик. – Сколько живу на свете, греха такого не

было. Главная причина, мальчик попался! Через него все вышло... Ослобони как-нибудь... а? Слышь, добрый человек!..

– Теперь нельзя, никаким, то есть, манером... Печать приложили! К тому, дело было при свидетелях... никак нельзя...

– Сделай милость, – продолжал старик, неудовольствуясь на этот раз умолять голосом, но пуская еще в ход пантомиму и убедительно разводя руками, которые дрожали.

Серые, плутоватые глаза кордонного устремились к амбару, за которым слышались голоса Петра и помольца; после этого он отступил еще несколько шагов от калитки.

– Слышь, добрый человек! – подхватил ободренный Савелий, – возьми с меня за хлопоты..., только нельзя ли как дело-то это... к примеру... Нельзя ли как ослобонить... право!..

Кордонный поправил баранью свою шапку, почесал переносицу указательным пальцем и на секунду задумался.

– Двадцать целковых дашь? – спросил он, понижая голос.

Савелия так огорошило, что он открыл

только рот и откинулся назад.

– Меньше нельзя! – спокойно убедительным тоном подхватил кордонный. – Рассуди: надо теперича дать старосте в селе, дать надо мужикам, которые были в свидетелях, надо также целовальнику дать; не дашь – обо всем поверенному расскажут, – уж это беспрременно, сам знаешь: народ нынче какой!.. Ну, и сосчитай: много ли сойдет мне из двадцати целковых?.. Узнает поверенный – я через это пропасть должен! Наше дело такое: мы, братец, затем к должности приставлены; как, скажут, ты с вином поймал, утаил от конторы, и с мужика взял!.. Я через это подлецом должен остаться перед начальством! Из того хлопочешь, чтоб было из чего...

– Двадцать целковых за ведро вина! – вымолвил старик, снова вспыхнув до самой шеи,

– Послушай, дядя, – миролюбиво сказал кордонный, – ты не кричи, – не хорошо! Мы не к тому пришли сюда; говорил: помириться хочешь,, так ты и делай, а то, что кричать-то не годится. По душе говорю, право, больше отдашь, коли в суд представят: за вино одно

возьмут с тебя втрое; так по закону отдашь за вино Двенадцать целковых! Да в суде еще сколько рассоришь...

Старик слушал и смотрел в землю; теперь, более чем когда-нибудь, был он, казалось, подавлен происшедшим с ним случаем.

– Эко дело! Эка напасть! – повторял он, чмокая губами, качая головой и безнадежно разводя руками. – Батюшка, – неожиданно произнес Петр, появляясь в калитке, – по-ди-ка сюда!

Савелий поспешно заковылял к сыну. Тот дал ему знак повернуть за угол амбара. Там стоял маленький помалец, который, как только показался старик, снова весь преисполнился быстротою.

– Слышь, дядя, – торопливо заговорил он, хватая старика за рукав и выразительно мигая ему на калитку, – слышь: ничего ему не давай, плюнь! Плюнь, я говорю! Окроме него, все ведь видели! Видели, как малый-то попался! При народе было дело! Дашь ему – ничего не будет, слухи дойдут, все единственно! Плюнь! Сколько ни давай, – все в суд потребуют: дело такое, при народе было; дойдут слу-

хи; все единственно! Обмануть хочет!..
Плюнь, говорю!

Мужичонок торопливо отскочил, услышав шаги за калиткой. Кордонный как будто догадался, о чем шла речь за амбаром. Он окончательно убедился в этом, когда позвал старика, и тот, вместо того чтобы пойти к нему, задумчиво продолжал смотреть в землю

– Дело такое настоящее, – сказал кордонный, бросая злобный взгляд на помольца, который зевал на стропилы навесов, как ни в чем не бывало, – мы через это пропасть можем... Всяк себя оберегает: дело такое! Представят завтра поверенному, ты его и проси... Этаким народ! Сказано: в чужой кабак не ходи – нет! Теперь и разведывайся!.. А я что?.. Я не могу. Поверенного проси! Последние слова сказаны были уже за воротами. Кордонный поправил шапку и, ворча что-то под нос, быстро пошел по дороге.

– Должно быть, слышал, о чем мы здесь разговаривали... – вдруг возвратилась вся его прыткость, – вестимо, слышал, либо догадался, все единственно! Видит: взять нечего, разговаривать не стал! Сколько просил, дядя?

Сколько?

– Двадцать целковых!..

– Ах он, шитая рожа! Эх, разбойник! Ах ты! – воскликнул мужичонок, порываясь как-то разом во все стороны, – двадцать целковых! Поди ты!.. Эх, махнул! Ах, бестия! Эти целовальники, нет их хуже! Самое что ни есть мошенники... душа вон! Ей-богу! Ах ты, шитая рожа, поди ж ты!.. Ах он!..

Савелий не обращал никакого внимания на слова помольца; он не отрывал глаз от земли и, по-видимому, размышлял сам с собою. Никогда еще не чувствовал он себя столько расстроенным. Это потому, быть может, что во всю свою жизнь никогда еще не был так спокоен и счастлив, как в последние эти три года, когда выстроил мельницу и жил сам по себе, с сыном и снохою.

– Эко дело! – проговорил он наконец голосом, который показывал, что склад его размышлений был самый безотрадный. – Вот не чаяли горя-то! Вот уж не чаяли!..

Помолец снова приступил было и уже схватил его за рукав, но Савелий махнул только рукою, отвернулся и медленным, отяг-

ченным шагом побрел в избу.

V. Объяснения. – Надежды. – Последствия

– Минут пять спустя старик снова показался на крылечке.

– Григорий! – крикнул он, озираясь вокруг с недовольным видом. – Григорий! – повторил он, возвышая голос.

Гришка не откликнулся.

– Должно быть, где-нибудь за амбаром, – отозвался Петр, принявшийся распрягать лошадь.

– Уберешь лошадь, позови его ко мне, – сказал Савелий, уходя опять в избу.

Распрягши лошадь, Петр несколько раз окликнул мальчика; ответа не было. Петр повел лошадь и мимоходом заглянул в амбарную дверь.

– Что, ай малого-то нету? Неужели убег? – заботливо осведомился маленький помалец, ослабляя зубы, которые были так же почти белы теперь, как лицо его, выпачканное мукою, – никак старик кликал? Как не осерчать! Осерчаешь! Вишь набедовал как... насдобил!

Стало быть, запужался... завалился куда-нибудь... Испугаешься!.. Подождешь хвост!.. Пойдем, я поищу; отчего ж? поискать можно!.. Пойдем.

Петр вел между тем лошадь в клетушку, прилаженную к задней части навесов; услужливый мужичонок следовал за ним, стараясь попасть в ногу и поминутно хватая его за рукав, как бы желая обратить внимание Петра на каждый угол, щель, где, по мнению мужичка, должен был непременно сидеть мальчик. Оба они вошли в клеть.

– Здесь! Вот он! Взял! Взял! Держу! – кричал во все горло помалец, хватая Гришутку, который стоял смирно, забившись лицом в угол.

– Вижу, вижу! Ну, что кричишь-то? – сказал Петр.

Ободренный словами и голосом Петра, Гришутка, остолбеневший в первую минуту от страха, зажмурил вдруг глаза, раскрыл рот и залился жалобным воплем.

– Ну, о чем плачешь-то? О чем? – промолвил Петр. – Пойдем, отец зовет. Эх ты, страмник! Страм-ник!.. Право, страмник этакой!

– Высекут, это как есть! И-и высекут! – подхватил, двигая руками и глазами, помолец, – как не высечь? Надо, не балуй!..

– Ничего этого не будет, – сказал Петр, – старик, Гришутка, ничего не сделает, только спросит... Не бойся! Разве не знаешь?.. Не плачь, а то хуже... – добавил он, взяв за руку несколько утешенного мальчика.

Черненький мужичонок сопровождал их до самого крылечка; он, вероятно, пошел бы дальше, но вспомнил, что рожь приходила к концу в ящике, и опрометью побежал в амбар. Савелий находился за перегородкой, где лежала сноха его.

– Подойди сюда, – сказал он мальчику, который смотрел бычком в землю и пыжился из всей мочи, чтобы удержаться от слез. – Ну, видишь, смотри! – примолвил старик, обращаясь к снохе, – видишь, ничего с ним не сделали! Не сковали, не повезли в острог... Цел, видишь! Было из чего полошиться, бежать на стужу... словно полоумная какая, право!.. Хошь бы о себе-то подумала, об ребенке подумала... А то: зря выбежала на стужу, вся раскрымшись; ну есть ли разуму-то? И стоит ли

он того, чтобы сокрушаться-то о нем?.. Озорник этакой!.. Поди сюда, – промолвил старик, снова поворачиваясь к мальчику и выходя в первую половину избы. – Зачем поехал ты в чужой кабак, а? Разве я не говорил тебе, куда ехать? сказывай... а?.. Не говорил разве?.. Ну, какой твой будет ответ, а?.. – заключил он, садясь на лавку.

Из объяснений мальчика открылось (голос его звучал такой искренностью, что нельзя было ему не поверить, и, наконец, все слова его потом оправдались), открылось, что виновниками всего случившегося были старшие сыновья хозяина микулинской мельницы, той самой, что виднелась в отдалении. Встретив Гришку на плотине, они спросили, куда он ехал; он сказал; они уверили его, что кабак, куда посылал его дядя Савелий, был теперь заперт; целовальник уехал с женою на свадьбу сестры и возвратится только завтра; они говорили, что все равно, вино можно взять в другом кабаке, что тот кабак еще ближе первого, что там вино не в пример даже лучше и что дядя Савелий скажет еще спасибо. Гришутка поверил и отправился. Он клял-

ся и призывал всех святых в свидетели, что не сымал шапки во всю дорогу; выйдя из кабака, он благополучно поехал в обратный путь, но при выезде из села налетел на него кордонный, его схватили, повели к старосте и отняли у него вино.

Дойдя до места, когда к бочонку приложили печать, рассказчик остановился и снова залился горькими слезами, как будто в этом именно печатании бочонка и заключалось собственно все несчастье. Но Савелий не слушал уже его. Он смотрел даже в другую сторону. Он притупленно молчал и только, время от времени, досадливо потряхивал сединами, произнося упреки, относившиеся, впрочем, более к микулинскому мельнику и сыновьям его. Пора бы им, кажется, войти в совесть! Пора бы оставить его в покое! Чего им еще от него надо? Разве он на реке поставил свою мельницу? Разве перебил у них воду? У них мельница-крупчатка о семи подставках, работают они год круглый, тысячи добывают! Неужто мало им этого?.. Неужто зависть берет, и не довольно вредили они ему?.. Богачи, крупчатку имеют, тысячи наживают, а зави-

дуют какой-нибудь колотовке о двух колесишках! Чай пьют, калачи едят крупичатые, а завидуют крохам бедного человека? Богачи, купцы, а на какие срамные дела пускаются! Мальчика подучают ехать в чужой кабак, чтобы подвести под беду родителей!

Под влиянием таких соображений, приправленных еще мыслью, что дело с бочонком не обойдется даром, дядя Савелий сделался ворчлив и несообщителен. В эти последние три года, как устроилась мельница, никто из домашних не видал его таким пасмурным, недовольным. За ужином, где старик бывал обыкновенно таким болтливым, он едва сказал несколько слов. Он послал Петра рассчитаться с помольцем и прежде всех завалился на печку.

Петр, его жена и старая Палагея, рассуждая о завтрашнем дне, думали, однако ж, что авось-либо на завтра сердце старика как-нибудь разойдется. Предположения их оправдались. Заря следующего утра показала им, что лицо Савелия совсем уже не было таким, как накануне; лоб его, правда, морщился, но морщины выражали скорее суетливость, чем

мрачное настроение духа. Он тотчас же послал Петра за вином; против всякого ожидания, не выказал он даже большой досады, отсчитывая ему следуемые четыре целковых; раза два пожал только губами и крякнул.

Прибытие кума и кумы, поездка в церковь, обряд крещения, возвращение домой – все это заметно развлекло старика. Съехались гости, пошли поздравления и угощения. Не обошлось без того, разумеется, чтобы не упомянуть о происшедшей ввечер неприятности; но речь об этом предмете, благодаря стаканчикам винца, которые успели уже пропустить собеседники, приняла такой путаный характер, так часто прерывались всякого рода восклицаниями и взрывами хохота, что не имела никаких последствий на расположение престарелого хозяина. Вообще крестинный обед прошел весело. Савелий, сидевший между кумом Дроном и сватом Стегнеем, смеялся даже громче их, когда к концу угощенья старая Палагея выскочила вдруг из-за перегородки и, прищелкивая пальцами, начала отхватывать какие-то диковинные коленца.

Хорошее расположение старика не преры-

валось даже на другой день. Он спал еще, когда на двор въехало семь подвод с рожью. Одно разве могло несколько озабочивать старика: внучек, который был так покоен, начал вдруг ни с того, ни с сего кричать; вместе с этим узнал он также, что Марья сильно жаловалась на головную боль. Легко могло стать, что простудилась она, выбежав на крыльцо, когда привезли Гришку; но отчего бы ребенку плакать? Отчего бы ему не брать груди?.. Напрасно уверяла Палагея, что все дети кричат на второй день, что крик внучка, может, происходит оттого также, что просто не в охоту грудь матери, и лучше будет, коли дадут ему рожок; но слова ее пропадали, казалось, даром. Старик качал головою и пожимал губами.

Надо было, однако ж, обратиться к делу; не всякий день является по семи помольцев на мельнице! Двое суток сряду отбоя не было от помольцев; жернова работали без отдыха, и мучная пыль не переставала клубиться над амбаром. В день крестин и последовавший затем день Савелий не проходил мимо Гришки, чтобы не погрозить ему пальцем или не оста-

новиться, подперевшись в бока, и не сказать ему: «Эх, ты у меня... Эх!.. Смотри!..»

Но теперь все это миновало; он звал его Гришуткой, Гринькой и Гришахой; словом, все пошло опять по-старому, пока неожиданно, на четвертый день после крестин, утром явился сотский. Он был ст станowego пристава. Это обстоятельство навзничь опрокинуло мирное течение мыслей в голове Савелия. Было отчего, впрочем. Оказывалось, что на Савелия поступила в стан «бумага» за противозаконный провоз вина из чужой губернии. Становой велел ему тотчас же явиться на станovou квартиру. Сотский издавна знаком был Савелию; пошли спросы-расспросы. Сотский сказал, что дело, собственно, не большой важности; придется только поплатиться; но сколько придется отдать – этого не знал он положительно.

– Так точно, – хрипел сотский, представлявший из себя совершенное подобие гриба, закутанного в чахлую шинелишку, такого же цвета и такую же морщинистую, как лицо его, – денег с тебя возьмут, так по положению, это так точно; главная причина, проси Ники-

фора Иваныча (так звали станового), его про-
си, чтоб до суда не доводил: поблагодарить
придется, не без этого, так точно; главное, без
денег не суйся, возьми денег; требуется; луч-
ше дай, сразу реши дело, отрежь; таскать нач-
нут – дороже обойдется, не в пример дороже,
это так точно...

Во время этого объяснения Петр стоял ша-
гах в трех и тревожно смотрел на отца, кото-
рый бил себя по полушубку и вообще выказы-
вал величайшее беспокойство. Гришка, про-
павший при первом появлении сотского, си-
дел между тем в самом темном углу клетуш-
ки; он был ни жив ни мертв. Но никто об нем
не думал; не до него было совсем. Мигом зало-
жена была тележка. Пока Петр, по приказан-
нию отца, отсыпал сотскому мучицы, Саве-
лий оделся. Он не послушал, однако ж, сот-
ского, не взял денег. Ему хотелось прежде уяс-
нить хорошенько все обстоятельства, убе-
диться, точно ли дело такой важности, как
показалось со страху, точно ли суд вступится
в такую безделицу. «Что ж такое, что мальчик
кабаком обознался? – рассуждал он. – Разве
кто-нибудь от этого отпирается? Коли в са-

мом деле по закону так требуется, он, пожалуй, готов отдать, что следует, – его грех! Но больше давать за что же? Лучше съездить лишний раз домой, достать сколько денег требуется, чем брать их с собою... Может, так как-нибудь, и безо всего еще обойдется; возьмешь деньги, того и смотри, пронюхают как-нибудь; тогда же не отвертишься, возьмут, потому статья такая будет подходящая...»

Так рассуждал сам с собою старик, всячески стараясь ободрять себя; между тем, руки его дрожали и под сердце подступила тоска и беспокойство. Он довез сотского до Ягодни и прямо пустился на станovouю квартиру. Становой уехал в город и раньше двух дней не мог возвратиться. Савелий узнал, сверх того, что и письмоводителя также не было. Оставался только писарь, но последний не мог дать никакого объяснения касательно дела; он советовал старику ехать в город и скорее явиться к становому. Покормив лошадь, Савелий в тот же вечер поехал в город. От стана до города считалось верст тридцать, ему хотелось поспеть туда чем свет на другое утро.

Мысли, бродившие в голове старика, были

такого свойства, что, конечно, не могли развлекать его приятным образом. Во всю дорогу лицо его сохраняло озабоченное, задумчивое выражение; ни разу не оживилось оно той добродушной улыбкой, которая снова, казалось, установилась на губах его. Впрочем, и самое время изменилось теперь, против того, как было в последние дни. Рыхлые, тяжелые тучи покрывали небо; накануне, в эту самую пору, поля ярко еще освещались закатом – теперь наступали сумерки; даль начинала уже пропадать, заслоняясь густым, сизым мраком. Пасмурное небо смотрело неприветливо, тускло; серо и голо было в окрестности. В воздухе также произошла большая перемена; вместо сухой морозной свежести, румянившей щеки и приятно щекотавшей ноздри, дул теперь мягкий, но сильный, порывистый ветер. В мутной глубине сгущавшихся сумерек слышно было, как шумели рощи. Сухие листья, кружась и шуршукая, проносились мимо; отставший листок падал иногда на дорогу и, как бы не решаясь пуститься одиноко в сумрачную даль глухого поля, долго-долго катился по дороге, пока наконец не встречал но-

вых товарищей, которые подхватывали его и снова увлекали дальше... Местами на пути попадались ручьи и реки; дня три назад мороз покрыл их ледяною корой, и смело можно было на ней держаться; вода теперь отовсюду просачивалась, и лед осаживался. Нельзя было ждать, однако ж, ненастья. Время дождей и грязи давно миновало. Рыхлые тучи и мягкость воздуха предвещали другое: с минуты на минуту надо было ждать снега; снег, как говорится, висел над головою.

Савелий ехал всю ночь. Был уже час шестой, когда сквозь редяющий мрак показались наконец городские церкви, едва тронутые бледной утренней зарею.

VI. Кошка и мышка

Город, куда не замедлил въехать Савелий, считался, – и совершенно справедливо, – одним из самых значительных наших уездных городов. Когда-то думали даже сделать его губернским. Он раскидывался по берегу большой, судоходной реки; здесь ежегодно грузилось несколько тысяч судов, уносивших в Москву и Нижний рожь, овес и пшеницу. Большая часть обывателей занималась оптовой хлебной торговлей. Нельзя было сделать десяти шагов на любой улице, чтобы не пройти мимо лабаза, украшенного снаружи скамьею с намалеванной посредине шашечной доскою, на которой восседали хозяева с седыми, черными и рыжими бородами. Многие из этих бород имели миллионы. Город богател и процветал год от году.

Все это не мешало, однако ж, что в городе никак не могла утвердиться контора дилижансов. Контора устроилась прекрасно, экипажи были отличны; цена за места назначена была самая умеренная: от города до Москвы брали всего четыре целковых. Но почет-

ное купечество находило более выгодным ездить с вольными ямщиками, которые держали кибитки, устроенные таким образом, что, в случае надобности (а надобность всегда встречалась), можно было помещаться человеком трем на козлах и человеком пяти в рогожном мешке, прикрепленном к задней части кузова. Последние места обходились в один рубль. Бедные пустые дилижансы с сокрушенным сердцем взирали на то, как почтенное купечество погружалось в мешки, проскакивало до Москвы вверх ногами и, погрызвая сайку, лукаво на них посматривало. Контора не могла долго бороться против такой опасной конкуренции: рогожные мешки одержали победу, и дилижансы скоро закрылись.

Часов около девяти Савелий отправился отыскивать станового; он был у него на квартире, но там сказали, что Никифор Иванович ушел в уездный суд. Уездный и земский суды помещались в большом двухэтажном доме, смотревшем на собор и отличавшемся белизною наружных стен. Уездный суд был во втором этаже. Поднявшись по лестнице, Савелий

вступил в темную прихожую, казавшуюся еще чернее от множества шинелей, висевших на стенах. Тут стояло довольно много мужиков, попадались даже бабы. Едва вошел Савелий, одна из баб тотчас же обратилась к нему и, утирая слезы, сказала:

– Батюшка... кормилец, взмилуйся!.. Муж у меня ратник, год слуху об нем не имею; не знаю, жив ли, умер ли... Была у ротного, сюда прислал, кормилец...

– Чего ж тебе надо? – нетерпеливо спросил Савелий.

– Батюшка, не сказывают ничего об муже-то... Пришла сюда бумага об нем, – да не сказывают... Просил!! просила, – пятьалтынный спрашивают; без этого не сказывают... А нет у меня ничего, кормилец; пришла я, отец, за сорок верст... взмилуйся, не поможешь ли?..

– Как же, много у меня! Дело-то, может, твоего хуже... – проговорил Савелий, хмуря лоб и не обращая внимания на соседей, которые скалили зубы.

Он дал ей, однако ж, грош и, чтобы избавиться от дальнейших преследований, про-

тискался вперед к двери. Посреди второй комнаты, окруженной столами, за которыми человек десять трещали пером, стоял, раздвинув ноги, толстый господин с шитым воротником и толстыми руками, заложенными за фалды; раздув брюзгливо губы, насупив брови, он неохотно слушал какого-то белокурого человека, который шептал ему на ухо, страшно егозил и весь расплывался, таял и умилялся. Господин с шитым воротником, видимо, скучал; глаза его с воспаленными белками блуждали по сторонам; они остановились на двери в ту самую минуту, как белая голова Савелия высунулась из толпы.

– Чего тебе? – густым басом спросил его господин с шитым воротником, очевидно, с тою только целью, чтобы развлечь себя.

Савелий сказал, что он, собственно, за тем здесь, чтобы видеть станового Никифора Иваныча, который, так сказали ему, здесь находился.

– Никифор Иваныч! – забасил стоячий воротник, тяжело поворачиваясь на каблуке и не обращая никакого внимания на белокурого человека, который продолжал припадать к

его уху и по-прежнему егозил, таял, млеял и умиленно что-то нашептывал.

В соседней комнате послышался голос и чьи-то быстрые шаги; секунду спустя в дверях показался Никифор Иваныч, – человек молодой, круглый, румяный и очень снисходительного вида. Савелий выступил два шага и поклонился.

– Что скажешь? – ласково спросил становой, закинул руки за фалды и начал перекачиваться с носков на каблуки и обратно.

Савелий сказал, что за ним посылали, и передал ему свое дело.

– Знаю, знаю, – перебил становой, – так это, брат, ты попался? Хорош гусь! Дело твое теперь уже не у меня, оно поступило сюда к исправнику; я, собственно, затем тебя и вызывал в стан, чтобы ты немедленно сюда явился.

Ободренный ласковым видом станового, Савелий начал просить, нельзя ли ему как-нибудь вступить, ослобонить его.

– Что ты, братец, не понимаешь разве, что ли? Русским языком говорю: дело о тебе поступило уже к исправнику; я тут ничего не

могу; проси исправника, или вот, чего же лучше: сходи к откупщику, его попроси; он же, на твое счастье, вчера в город приехал; его проси, а я ничего не могу.

Савелий слушал все это, понуря голову и переминая в руках шапку. Живая сметливость и восприимчивость духа, которых не могли победить годы, теперь как будто его оставили. Ум его, так быстро соображавший размеры колес относительно количества воды, так хитро придумывавший шестерни и всякие улучшения в плотинах, так ловко применявший самое незаметное обстоятельство к успеху мельничного и плотничного дела, не давал ему теперь никакого объяснения и совета.

«Гришутка попался с вином, это точно; вино по закону запрещено брать в чужом уезде или губернии, это так; становой вызвал его по этому случаю; оказывается, что дело уже перешло к исправнику; почему ж к исправнику? Неужто в самом деле так важно это дело и будут его судить? Его? За что же? Такая дрянь нестоящая, – ведро вина! – и сколько возни, хлопот, быть может, даже издержек?.. Что же

там за откупщик такой? Неужто властен он над исправником? Надо к откупщику идти... надо... А ну, как держит он руку исправника?..»

Все это сбивало старика с толку и наполняло туманом его голову. В этих комнатах, перед этими пишущими людьми, перед этими господами в светлых пуговицах, он чувствовал себя как будто на другой планете, в другом мире, чувствовал себя совершенно отчужденным, уничтоженным, подавленным, без силы, без воли и разума. Нет, здесь не то, что на улице Ягодни, где каждый был ровня, каждый готов был его послушать, каждому почти был он нужен при случае; здесь не то, что на мельницах, где все представлялось ему таким понятным и ясным; здесь никто не нуждается в колесах, плотинах, советах насчет жерновов, толчеи и снастей; здесь на все это плевать хотят, и требуется здесь совсем другое... Робость невольно прокрадывалась в душу старика; ласковое обращение станowego ободрило его только на минуту. Как только исчез Никифор Иваныч, два-три мужика приступили к Савелию с расспросами, но он не отве-

чал; он торопливо вышел на лестницу, надел шапку, потом снял ее, два раза перекрестился и, спустившись на улицу, спросил, куда идти к откупщику.

Дом откупщика знаком был каждому в городе; Савелию стоило только обратиться с вопросом своим к первому человеку, чтобы узнать дорогу. К тому же, дом находился недалеко от присутственных мест; это было большое каменное здание, выходявшее одним боком на пространный двор, обнесенный вокруг деревянными навесами и другими строениями. Савелий застал на дворе человек тридцать народа; все они, очевидно, принадлежали к дому; кто перекачивал бочки, кто набивал обручи, кто таскал мешки с солодом. Против одного из строений, находившегося ближе к дому, стояла распряженная карета, возле которой возился кучер в черном плисовом казакине. Откупщик, действительно, только что накануне прибыл. Он заглядывал сюда раз или два в год, когда проезжал через губернию, которую держал на откупу. Для таких случаев в доме, нанимаемом, собственно, для конторы, оставлялось несколько комнат.

Откупщик с семейством своим жил или в Москве, или в Петербурге; и тут, и там имел он собственные дома; сверх того, в окрестностях обеих столиц были у него дачи, отделанные с баснословным великолепием. Все это возникло вдруг, как бы по мановению волшебного жезла.

Роскошь Пукина (так звали откупщика) давно проникла через молву до уездного города, куда прибыл он накануне. Многие из обывателей уезда были у Пукина в Москве и Петербурге; возвращаясь восвояси, они по целым неделям ни о чем больше не говорили, как об убранстве комнат Пукина, о его обедах, лошадях, цельных зеркальных окнах, резных потолках и о том невероятном богатстве, которое позволяло ему бросать деньги, как песок. Ясно, что приезд такого человека должен был всегда производить впечатление в уездном городе. В промежуток трех-четырёх дней пребывания Пукина должностные лица и многие из частных обывателей почти не выходили из дома откупщика: они пили у него чай, завтракали, обедали, играли в карты и ужинали. Так было и теперь. В то время как

Савелий входил на двор конторы, у Пукина сидели гости.

Ранний час утра не позволял обществу быть многочисленным; оно состояло пока из исправника и городничего. Оба сидели с хозяином дома в большой зале, смотревшей окнами на двор. Тут находился также управляющий конторою и два поверенных, но последние не принадлежали обществу, – их считать нечего; первый стоял поодаль в каком-то подобострастном оцепенении, Два других торчали в дверях, сохраняя на лицах выражение благоговейного умиления.

Не следует, впрочем, думать, чтобы обращение исправника и городничего отличалось особенною фамильярностью; разница между первыми и вторыми состояла почти в том, что первые стояли, тогда как вторые сидели. Иначе даже быть не могло. Начать с того, что Пукин был благодетель городничего: он выхлопотал ему место, разместил детей его, помог выстроить дом после пожара, дал раз две тысячи рублей, которых не достало при каком-то казенном отчете, и тем спас *protege* [1] своего от позора и гибели. Городничий ясно

понимал, может статься, что благодетель действовал неспроста; понимал он это, но, с своей стороны, лез из кожи, желая доказать Пушкину свою благодарность: позволял держать кабаки открытыми до часу ночи и даже всю ночь, скрывал все случаи, происходившие в этих приютах, и прочее, и прочее. При всем том, мера благодеяния превышала все-таки выражения благодарности, и городничий не мог считать Пушкина за обыкновенного человека. Что ж касается исправника, он стеснял себя перед откупщиком, совершенно бескорыстно; он знал, что Пушкин слишком привык к лести и подобострастию, чтобы можно было подъехать к нему такими путями. Исправник просто не мог победить в себе чувства невольной робости и удивления при виде человека, который из ничего сделал себе миллионы и бросал деньгами, как песком. Пушкин возбуждал, впрочем, удивление и не таких добродушных людей, как исправник. Одни удивлялись его гению, других поражало безграничное его тупоумие; замечательнее всего, что те и другие были совершенно правы.

Гений Пушкина заключался в следующем:

не далее четырнадцать лет назад он служил на побегушках и, как говорили, исправлял даже самые низкие должности у откупщика Сандараки, успевшего также нажать миллионы и носящего теперь фамилию Сандаракина. Пукин понравился, получил место поверенного, потом дистанционного и наконец попал в управляющие конторой. Счастье ли тому способствовало, или так распорядился уж Пукин, но в два года уезд под его управлением дал Сандараки вдвое больше прежнего. Изобретательность Пукина была изумительна; она удивляла даже Сандараки, который сам прошел огонь, воду и медные трубы и давно уже ничему не удивлялся. Известность Пукина росла между откупщиками; начали его переманивать, но Пукин остался верен Сандараки. Последний дал ему небольшой пай в каком-то большом предприятии и послал его уполномоченным на свое место. В акте сказано было, что Сандараки дает мещанину Пукину два пая; но Пукин из двух ухитрился сделать двадцать два, хватил неслыханный куш и учтиво тогда раскланялся с Сандараки, который должен был поневоле молчать: пред-

приятие было такого рода, что обязывало не раскрывать тайны. Пукин вышел сух и бел, как лебедь из воды, расцвел, вырос, представил залого и сам сел в откупщики. Он, говорили, был уже тогда в семистах тысячах. Дело его пошло отлично, счастье ни разу не изменило. Откупщики только ахали; многие, несмотря на молодость Пукина, стали обращаться к нему за советами. Вскоре Пукин нашел покровителей между людьми сильными. Он так пошел вдруг в ход, что все об нем заговорили. Он брал теперь по десяти городов на откуп, брал целые губернии, – и ни разу не оборвался. Начали его бояться: стоило Пукину явиться на переторжку – ему давали огромные отступные суммы, чтоб он только не набивал цен, и т. д. – словом, в четырнадцать лет из-человека, исполнявшего низкие должности у Сандараки, Пукин сделался миллионером. В этом, по мнению многих, заключалась гениальность Пукина.

Тупоумие откупщика основывалось вот на чем: как только явились у него миллионы (известно, как легко они ему достались), он вообразил себя каким-то всеобъемлющим че-

ловеком; отправляясь с этой точки зрения на пути богатства, Пушкин тотчас же заразился самым непомерным тщеславием. Пройдя от доски до доски всю школу надувательства, он позволял теперь надувать себя самым жалким образом. Двум-трем негодьям, движимым, очевидным расчетом, ничего не стоило, например, уверить его, что он, Пушкин, ничему никогда не учившийся, едва знающий грамоту, был все-таки умнее их всех; они твердили ему с утра до вечера, что он обладает способностями министра, что на него устремлены взоры государства, что он, Пушкин, человек популярный! Пушкин, при всей своей плутоватости, чистосердечно всему поверил, – поверил, как простофиля. В ослеплении своем он толковал о Европе, разрешал вопросы высшей политики, высказывал суждения о литературе, не понимая страшного комизма той роли, которую на себя принял. Фимиами, которые воскуряли подленькие сеиды и мюриды, составившие двор его, решительно вскружил Пушкину голову. Он помешался на том, чтоб быть популярным и чтоб об нем говорили. С этой целью, собственно, сыпал он такие

безумные деньги. Стоило явиться какой-нибудь дорогой вещи, будь эта вещь: дом, лошадь, картина, главное, чтоб она была дорога и пришлась не по карману такому-то графу и князю, – Пушкин тотчас же покупал ее.

Все для той же цели купил он дом в Москве и отделал его великолепно, купил дом в Петербурге и отделал его еще великолепнее. Он покупал картины, бронзу, редкости. Пушкин находился в полном убеждении, что совершенно достаточно знать толк в пиве и пеннике, чтобы уметь ценить произведения искусства; он сделался меценатом, покровительствовал художникам; и тут, так же как и везде, сыпал деньги самым бестолковым образом. Художникам было это, конечно, с руки: они сбывали ему свой хлам, получая за него больше, чем за лучшие свои картины. Но Пушкину было все равно, он не гнался за достоинством, – да и грех ему было! – ему нужно только знаменитое имя на картине, нужно было много картин, чтоб говорили: «известная галерея Пушкина!» – вот за чем он гнался.

Роскошная жизнь, великолепные обеды, на которые не стыдились являться очень ум-

ные люди, чтобы поесть, попить и потом посмеяться над Пукиным, – все это, весьма естественно, имело некоторое влияние на мещанина, бывшего на побегушках у Сандараки. Из разбитного Степки, перетянутого сначала полушубком, потом чуйкой, потом уездным сюртучком с высокой тальей, – образовался господин, с величественной, комически-горделивой осанкой, покровительственно улыбающейся физиономией, глубокомысленно раздувающий ноздри и с достоинством махающий руками. Он самодовольно судил и рядил теперь обо всем, не терпел возражения и мрачно хмурил брови, когда что-нибудь не по нем выходило. Таким являлся он дома, сидя в бархатных своих креслах, на улице – в своей бекеше или трехтысячной шубе. На самом же деле был он тот же Степка, тот же приказчик питейного дома, но только в бобрах вместо овчины и смотревший не из кабака теперь, но из кареты, или из окна роскошного дома, в котором каждый кирпич представлялся воображению ведром пенника, сильно разбавленного водою...

Но мы, кажется, довольно уже говорили о

Пукине. чтоб стоило еще распространяться о его наружности Достаточно сказать, что Степан Петрович Пукин изволили откушать чай, оделись и вельможественно расхаживали по зале, возбуждая удивление городничего и исправника и подобострастное благоговение управителя конторы и двух поверенных. Он сделал таким образом несколько поворотов, когда в дверях залы показался становой Никифор Иваныч.

– Честь имею явиться-с, Степан Петрович! – весело сказал Никифор Иваныч, делая несколько шагов вперед и протягивая руку хозяину дома.

Такая смелость, и еще в становом, видимо, не понравилась откупщику, он небрежно кивнул головою и подал палец, украшенный богатым перстнем.

– Здравствуйте, – сухо сказал он. – У вас там в стану опять что-то случилось, – отрывисто прибавил откупщик, – первый раз слышу, чтоб в одном и том же стану так часто случались у нас неприятности...

– Что такое? – спросил Никифор Иваныч, с недоумением поглядывая на городничего и

исправника, которые укоротительно качали головою.

– До меня то и дело доходят слухи, – продолжал Пукин, – что в вашем стану народ поминутно попадает с контрабандным вином.

– Невозможно справиться, Степан Петрович, – возразил сконфуженный становой, – мой стан пограничный, входит углом в соседнюю губернию; наконец, что ж мне делать? Я рад был бы, чтоб этого не случилось... но это совершенно не в моей власти.

– Я вам говорил, Никифор Иваныч! – произнес значительно исправник.

– Ваше дело их преследовать, Никифор Иваныч, – преследовать и преследовать! – с жаром сказал городничий, выпуская клуб дыма.

Городничий курил сигару, предложенную ему Пукиным; куря ее, городничий раздувал ноздри, щурил глаза, сладко вдыхал дым, – словом, всячески старался показать хозяину дома, что испытывает неописанное наслаждение и блаженство.

– Садитесь! – сухо сказал Пукин, обращаясь к становому и принимаясь снова расхажи-

вать.

Услышав шум на дворе, он повернул туда голову и подошел к окну. Кучер Пукина гнал в шею какого-то седенького старичка, который хотел что-то объяснить стоявшим тут же мужикам и порывался вперед.

– Спросить, что там такое? – произнес откупщик, кивая головою двум поверенным.

Те полетели стрелою; через минуту возвратились они и, перебивая друг друга, сообщили, что какой-то мужик хочет непременно видеть Степана Петровича.

– Спросить, что ему надо... или нет, привести его сюда! – сказал Пукин.

На этот раз за поверенными кинулся сам управляющий конторой. Они ввели Савелия.

– Что тебе надо? – спросил Пукин, снисходя к такой роли по какому-то странному капризу, свойственному богатым, избалованным людям.

– Это тот самый мужик, который... – начал было становой.

– Что такое? – нетерпеливо перебил его Пукин.

– Который, – подхватил Никифор Ива-

ныч, – в последний раз с вином попался.

– Точно так... ваша милость... – заикаясь, сказал Савелий, – по нечаянности, простите, сударь... вам господь вдвое воздаст... Сказывают... теперича с меня двенадцать целковых потребуют... простите, сударь!.. вам господь втрое воздаст!..

Добродушие старика, который, не шутя, казалось, думал, что Пушкин гонится за двенадцатью целковыми, вырвало у последнего невольный смех; с этим смехом обратился он к исправнику и городничему; те также засмеялись и пожалы плечами.

– Простите... сударь... Помилуйте!.. – повторил Савелий упавшим каким-то голосом.

Он чувствовал себя здесь еще более отчужденным, чем даже в суде, перед лицами с светлыми пуговицами. Так ли уж настроили старика впечатления нынешнего дня, или напуган он был поверенными, – но внутренний голос шептал ему, что перед ним теперь сила и воля страшная, – сила и воля, которые все ломили, перед которыми все должно было уступать и склоняться. Робость подступала к его сердцу и путала его мысли; он казался та-

ким жалким, маленьким, раздавленным, уничтоженным; комкая свою шапчонку, не смел он поднять глаз и слышал только, как звенело в ушах его и как стучало сердце.

А между тем другой какой-то голос, извне как словно вторгавшийся в залу откупщика, – голос, сначала тихий, потом постепенно укрепляющийся, начинал ходить внутри и вокруг всей конторы... Голос с каждой секундой разрастался и приобретал больше и больше силы... Буря, опустошающая сёла, ломающая столетние дубы, поднимающая к небесам волны морские, уносящая кровли и хижины, как щепки, – не так, казалось, ревет и грохочет, как ревел теперь этот голос, потрясавший до основания, до последних сводов каменное здание конторы... Звук откупщицкого баса терялся и пропадал, как едва приметная пискотня едва приметной мухи... Все заглушалось голосом, который, постепенно возвышаясь, вырастая сильнее и яростнее, покрывал шум города и все дальше и дальше распространялся, как громовые раскаты... И ясно, казалось, ясно для всякого слуха говорил голос: «Не бойся, дядя Савелий! Не робей!

смотри прямо, – смело и прямо смотри в глаза откупщику Пукину! Не пугайся его, дядя Савелий, не кажась таким маленьким и подавленным! Смелей, дядюшка Савелий, смелей! Выпрями спину, подыми седую голову, взгляни ему гордо в глаза! Не ты перед ним маленький, – он перед тобой прах и крошка! Ты ведь также капиталист, дядя Савелий. У тебя сорок целковых, – и каждый грош твоего капитала выбит честным трудом и покрыт потом; каждый грош его миллионов заклеямен плутней! Кто же из вас двух богаче? Кто?.. Не робей же, дядя Савелий, не робей! Ободришь и прямо смотри на откупщика Пукина, он прах перед тобою, – честный ты труженик, честная, простая душа! Прах перед тобою – частицей той могучей, прочной силы, перед которой откупщик Пукин с его миллионами ничтожен, как самая ничтожная пылинка, сорванная ветром с кучи негодного сора!..»

Но слова таинственного голоса, – слова внятные и ясные для всех – проходили неслышными мимо ушей Савелия. Вместо того чтобы ободриться, продолжал он комкать свою шапчонку, продолжал обливаться по-

том, не находя даже смелости повторить свое оправдание. «Простите... батюшка!.. Помилуйте!» – вот все, что мог сказать он, когда Пушкин снова к нему обратился.

– Который случай? – спросил Пушкин, поворачиваясь к управляющему.

– Двадцать седьмой-с! – живо возразил тот, тараща глаза и страстно как-то впиваясь в лицо начальника.

Пушкин значительно приподнял брови.

– Нельзя простить, – сказал он, взглянув на Савелия, который завертел опять шапкой, – вы этак все, пожалуй, станете ездить в соседнюю губернию; вас по-Учить надо хорошенько, поучить непременно!.. Андрей Андреич, – добавил он, подзывая исправника, который шарахнулся к нему со всех ног, – пожалуй-ста, – подхватил Пушкин, отводя исправника несколько в сторону, – подержите у себя этого старика; он заплатит установленный штраф, – это само собою; но вы, сверх того, подержите его еще у себя на домашнем аресте; они больше даже этого боятся, чем штрафа; нужно, чтоб знали в народе, что такие проделки даром не обходятся...

Во все это время исправник моргал глазами, внимательно слушал и одобрительно кивал головою; как только Пушкин кончил, исправник обратился к Савелию, велел ему идти к себе на квартиру и дожидаться там его возвращения.

– Нельзя, господа, никак нам нельзя пропускать такие случаи безнаказанно! – заговорил Пушкин, входя в роль оратора, которая всегда ему очень нравилась. – Какое-нибудь ведро вина, сто, тысячу ведер для нас ничего не составляют! Вы понимаете, тут дело не в ведре вина, а в искоренении злоупотребления, в нарушении порядка, нарушении наших постановлений! Сказано на роду: не ходи в чужую губернию; он должен повиноваться!.. Не повинуется – заставь повиноваться!.. И, наконец, имеем мы, кажется, полное право требовать повиновения в отношении к нашим постановлениям! Платим мы миллионы за такую-то губернию, такой-то город; я заплатил, дал деньги, купил право – народ должен пить у меня, а не у другого!.. Что ж бы это такое было? Хорошо бы шли откупа! Да они плевка бы тогда не стоили! Не стоило бы рук марать!.. –

продолжал Пукин, самодовольно поглядывая на присутствующих, которые сохраняли, за исключением, может быть, одного станового, сохраняли такой вид, как будто прислушивались к сладчайшей музыке.

Они даже били такт головою. Савелий сидел между тем на дворе исправника и ждал, когда тот явится, чтобы решить его участь. Он ждал долго. По прошествии трех часов разнесся слух, что исправник рано дома не будет: он остается обедать у откупщика и проведет там остаток вечера. Известие это принес старый инвалид, занимавший должность рассыльного в канцелярии исправника.

– Где тут мужик, который к откупщику ходил... Ты, что ли? – спросил неожиданно рассыльный, взглянув на Савелия.

– Я, касатик...

Тебя велено не пускать отсюда; задержать велено.

– !Как же так, батюшка... Что же это?.. – проговорил Савелий, озираясь кругом, как потерянный.

– Так приказано! – возразил рассыльный, не давая другого ответа.

Домашнему аресту в квартире исправника подвергаются только те крестьяне, которые по незначительности вины не могут быть посажены в острог; такое право предоставлено исправнику; но он может приводить его в исполнение и не приводить – по своему произволу; нет ему никакой охоты держать у себя на дворе постороннего человека; правда, может он заставить арестанта возить воду, колоть дрова, топить печи и прочее; но игра свеч не стоит. Сажая под арест, исправник, по большей части, делает дружеское одолжение помещику, который просит его об этом, не зная, как справиться с крестьянином, требующим некоторой острастки. Домашний арест входит следовательно, в состав частных, домашних мер. Для негодяя арестанта мера эта недействительна, если она не соединяется с розгами; ничего не стоит ему убежать – никто за ним не присматривает: ему скажут только, чтобы не смел он никуда выходить, – и только.

Савелий покорился судьбе своей и решился терпеливо дожидаться исправника. Его беспокоила мысль о домашних: что-то скажут

они, как увидят, что он не возвращается; пройдет эта ночь – и будет уже двое суток, как он выехал из дому. Не мало также сокрушала его лошадь, оставленная на постоялом дворе. Кто об ней позаботится. Кто даст корму? Вот уж часов шесть будет, как она, сердечная, ничего не ела. Старик сообщил свои беспокойства другому инвалиду, несколько помоложе первого и, как казалось, более снисходительному. Инвалид не обманул его ожиданий, – точно оказался добряком. Он согласился вывести старика, как только смеркнется, и сходить с ним на постоялый двор; за все это просил он только гривенник; он требовал, однако ж, чтобы арестант не делал сопротивления, когда придет время назад возвращаться. Савелию доставлен был таким образом случай переговорить с хозяином постоялого двора; тот согласился оставить у себя лошадь и кормить ее.

Савелий тем охотнее начал сокрушаться о семействе, что ничто уже его не развлекало. Исправник явился домой ночью, на другое утро встал он поздно, велел сказать просителям, чтоб приходили завтра, и снова на весь

день отправился к откупщику. Тоска еще неотвязчивее, чем накануне, приступила к Савелию.

«За что же здесь держат? Хоть бы сказали, по крайней мере, чего хотят? Коли штраф заплатить требуется, он готов это сделать; но что же значит, что не выпускают его отсюда? У него свои дела есть: у всякого есть дела свои!.. Теперь самое время помолла; одному Петру не управиться. Кроме того, живучи в городе, приходится кормить лошадь ни за что, ни про что... везде убытки, изъян!..»

Он не переставал ходить по двору и беспокойно потряхивать седою головою: тоска подмывала его, и не сиделось ему на месте; посидит минуты две, ударит себя ладонями по полам полушубка, – и снова пошел кружить по двору исправника. В таком положении находился Савелий, когда неожиданно попался ему благодетель. Благодетель был не кто другой, как писарь, или письмоводитель исправника, – человек с косым левым глазом и флюсом на правой щеке, туго перетянутой косынкой. Савелий заметил, что писарь утром и в обед прошел мимо него два раза и кашлянул;

но старик сначала не обратил на это внимания и ограничивался тем, что вставал и кланялся. Вечером, на второй день письмоводитель снова явился, прошелся по двору и кашлянул; на этот раз, однако ж, он остановился, подозвал старика и сказал:

– Ну что, старче, скучаешь, а?..

– Вся душа изныла, батюшка. Хлеба даже лишился... – отвечал Савелий, – хоть бы узнать только, когда конец-то этому будет... Кажись, все бы отдал, чтобы только выпустили!.. Похлопочи, батюшка!.. Век буду за тебя молить бога!..

– Что ж, это можно... – сказал письмоводитель, моргая косым глазом, – похлопотать можно... только без денег нельзя...

– Мы, отец, не постоим в этом; сколько надо, готов отдать... Только ослобони Христа ради!.. Ослобони, батюшка!

– Тридцать целковых, – ласково сказал письмоводитель.

Савелия при этом встряхнуло, словно кто-нибудь дал ему тумака в спину.

– Тридцать целковых, – продолжал письмоводитель поправляя платок, перевязывав-

ший щеку, – менее нельзя; из них штрафных за вино отдать надо двенадцать целковых; потом придется еще кой-кому дать... без того не выпустят! Не скупись, старик, ой, не скупись! Тебя же жалеючи говорю; ведь хуже будет: продержат здесь недель шесть, пожалуй; там, пожалуй, в острог еще посадят... Ну что тебе: раз отдал – и дело кончил; убытков меньше будет; а уж я похлопочу, дело сделаю; одно говорю: выпустим.

– Батюшка! – воскликнул Савелий, – у меня и денег-то таких нет... Где ж их взять-то? Где?

– Найди как-нибудь, твое дело! У тебя лошадь здесь есть, – продай! Говорю: дашь эти деньги – дело решенное, поконченное; это все в наших руках! Ни за какие деньги не захочу я в подлецах остаться; сказал: сделаю, стало можно, потому и говорю; у нас случаи такие бывали; не впервой; свертим, говорю: дай только деньги!..

Надо было на что-нибудь решиться: или сидеть здесь в мучительной неизвестности, подвергая себя изъяну, или отдать деньги. Савелий думал, и как ни тяжело было – решился на последнее. Затруднение состояло в том те-

перь, как дать слух домой и вытребовать сына, потому что лошадь свою Савелий ни за что не хотел продавать. Продать ее можно было одному хозяину постоянного двора; но тот, зная положение продавца, конечно, не даст за нее втрое меньше против цены настоящей. С такими мыслями сидел он на третьи сутки, когда услышал за собою шаги; подняв голову, увидел он младшего инвалида, который шел к нему торопливо.

– Старик, тебя спрашивают, – сказал инвалид, указывая на калитку, – никак сын пришел проведать...

Савелий опрометью бросился к калитке; увидев Петра, он в радостях трижды поцеловался.

– К тебе, батюшка, – сказал Петр, оглядывая отца беспокойными глазами (он едва переводил дух, и, казалось, столько же происходило это от внутреннего волнения, сколько и от усталости), – добре уж очень об тебе соскучились... Сутки нейдешь, вторые нет тебя, – пошел я на станovouю квартиру; оттуда сюда... Начал по постоянным дворам спрашивать, – никто не знает! Тут напал на нашу лошадь...

мне все сказали...

– Да, – перебил Савелий, прищуривая глаза и с горечью потряхивая сединами, – жил век, ничего со мною такого не было... привелось под старость!.. Дорого обошлось нам это ведро вина!.. Пуще того сумленья одного сколько!.. Как быть... за грехи, видно, господь наказывает!..

Старик провел ладонью по глазам и задумался.

– У нас, батюшка, тоже есть дома не ладно, – сказал Петр, – мальчик мой добре разнемогся...

Старик перекрестился, не подымая головы.

– Не знаю, что такое сделалось, – продолжал Петр, – кричит день-денской и ночь всю... весь даже извелся; одни косточки остались!.. Палагея сказывала: у жены молоко вишь как-то попортилось... очень уж в ту пору она испугалась, как Гришку схватили... сама опосля сказывала; да это не от того припало к мальчику: он и рожка не берет... чем жив, бог ведает!..

– Видно, – произнес старик, покашливая, – видно, горе-то не в одиночку ходит... не в оди-

ночку!.. Прогневили, знать, господа!..

Старик отвел сына несколько в сторону и передал ему от слова до слова разговор с письмоводителем; требование тридцати целковых озадачило Петра ничуть не менее, чем отца; но это потому так было, что Петр не подозревал даже, чтобы такая сумма могла у них находиться. Узнав об этом, Петр начал упрашивать старика отдать деньги. Он говорил, что денег этих пока им не надобно; что живут они и без них по милости создателя; что работы вволю теперь и, коли бог благословит, наживут они опять столько же. Старик долго крепился, молчал, пожимал губами; наконец рассказал сыну, где лежали деньги, и велел ехать домой как можно поспешнее.

Отсутствие Петра продолжалось почти целые сутки; от города до мельницы, если даже ехать наперекоски, считалось верст сорок. Лошадь плохо была кормлена; пришлось ехать медленно; пришлось даже лишний раз остановиться на перепутье и дать вздохнуть бедному животному. Наконец Петр явился.

Старик переговорил еще раз с письмоводи-

телем и отдал ему требуемые деньги. Письмоводитель действительно не показал себя подлецом; он сдержал слово. Остается совершенно неизвестным, как устроил он дело (надо думать, исправник отчасти участвовал в заговоре); Савелий в тот же вечер получил свободу и мог отправиться на все четыре стороны. Он расплатился с хозяином постоялого двора, дал лошади перехватить корму и, несмотря, что на дворе была уже ночь (старика сильно тревожила мысль о внучке, которому было хуже), сел с сыном в тележку и покати́л из города.

VII. Возвращение на мельницу

Савелий и Петр подвигались медленно. В ночь выпал снег; необыкновенная мягкость воздуха делала его рыхлым и мягким; он ворохами навивался на колеса и так отягощал тележку, что лошадь с трудом ее тащила. Тучи заслоняли небо; но снежная белизна окрестности распространяла ясность, и ночь была не так черна, как ожидали путешественники. Тем не менее лошадь часто сбивалась с колеи; местами дорога вовсе пропадала; Петру и Савелию приходилось пробивать первый зимний путь. Совсем уже рассвело, когда прибыли они в Ягод-ню. Они завернули к куму Дрону, взяли у него сани, перепрягли лошадь и, не теряя секунды, опять отправились. Минуты две какие-нибудь потребовалось, чтобы спуститься по луговому скату; санишки летели сами собою, раскатываясь то вправо, то влево, и каждый раз загребая глыбы снега. Лошадь, почуяв стойло, пустилась вскачь. Миновали ручей.

Весело подъезжать к дому. Весело глядеть, как постепенно показывается и вырастает вдалеке родимая кровля. По лицам Савелия и Петра нельзя было сказать, чтоб они были веселы; смущение и беспокойство обозначались в чертах отца; тяжелое предчувствие сильнее вторгалось в его душу по мере приближения к мельнице. Он слова не говорил с сыном. Петр также молчал. Молча вылезли они из сарая и отворили ворота.

При появлении их на двор Гришутка выглянул из-за угла амбара; он скрылся в ту же секунду, и потом видно было сквозь щели плетня, как проскочил зайцем и пропал за клетушкой. Не знаю, обратил ли на это внимание Петр, но старик ничего не заметил. Оба поспешили к крыльцу. Вопль, неожиданно раздавшийся в избе, рванул их за сердце; они переглянулись. В эту минуту на крылечке показалась Палагея. Нечего уже было спрашивать: лицо Палагеи и, еще более, вопль, свободно вылетававший теперь в полурастворенную дверь избы, ясно сказали, что все кончено...

– Очень уж больно убивается... – прогово-

рила Палагея, – подите к ней... Нонче помер, Христос с ним, на самой на заре...

Отец и сын вошли в избу. Младенец, покрытый белым платком, лежал под образами, тускло отражавшими крошечное пламя желтой восковой свечки. Марья сидела подле; обхватив руками тело младенца, спрятав лицо в ногах его, она неутешно плакала. Потеря ребенка, которого она ждала шесть лет, которого девять месяцев потом так радостно носила под сердцем, тяжело отзывалась в душе ее; но к этому примешивалось еще другое чувство: младенец теснее как-то привязывал к ней мужа, очевидно располагал к ней свекра. Душа ее, горько настроенная потерей ребенка, создавала новые, преувеличенные опасения: она теряла уверенность в любовь мужа и расположение свекра.

Савелий, в глазах которого крошечное пламя свечки принимало вид большого мутного круга, тут же увидел, что ему еще приходится утешать сноху и сына. Сделав три земных поклона, он велел Петру остаться с женою, а сам спустился на двор и начал распрягать лошадь. Поставив ее на место, он снял с пере-

кладчины навеса две новенькие песенки и медленно повлек их к обрубку, где дней пять назад сколачивал люльку. С люлькой больше было хлопот, чем в теперешней работе. Когда Петр вышел к отцу, гробик совсем почти был окончен.

– Петр, – сказал старик, – тебе со мною идти незачем, посиди пока с женою; я один схожу; тягость в нем небольшая!.. Сам снесу его, сам схороню... Ты здесь побудь... Да где же Григорий? Что я его не вижу... Где он?

Петр словно по чутью какому-то пошел прямо к клету. Минуту спустя он вывел оттуда Гришку; мальчик не смел поднять головы и вообще выказывал знаки сильного испуга.

– Поди сюда, Григорий! – произнес старик кротким голосом. – Куда ты все прячешься... зачем?.. Это не хорошо... Побудь здесь... Вот я его возьму с собою, – промолвил Савелий, обратившись к сыну, – он подсобит; к попу сходит и лопату снесет... Ты поди пока, посиди с ними...

Ласковое обращение старика произвело, по-видимому, на Гришку совсем другое действие, чем следовало ожидать; вместо того

чтобы ободриться, он кисло как-то пожимал губами и плаксиво моргал глазами; он не трогался с места, не смел поднять головы, так что кверху выглядывали только два вихра на его затылке и уши, которые были так же красны, как лицо его. Но старик, принявшийся за крышку гробика, снова забыл как будто о существовании мальчика. Вскоре, однако ж, был он завлечен стуком лошадиных копыт и голосом помольца, который въезжал на двор мельницы. Помалец поздоровался, спросил, есть ли свободная снасть и можно ли засыпать.

– Засыпай, добрый человек, засыпай... – промолвил Савелий тем же кротким, расслабленным голосом, с каким обращался к Гришке, – которая снасть понравится, в ту и засыпай...

– Что же это... Никак у вас покойник? – спросил помалец.

– Внучек... – тихо сказал Савелий, подбирая как-то вовнутрь губы свои, которые начали вдруг морщиться, – внучек... Вот был он... а теперь... теперь и нету...

Полчаса спустя на дворе мельницы опять

раздались вопли и крики; теперь были они только сильнее; Марья стояла на крылечке; с одной стороны держала ее Палагея, с другой Петр. Она рвалась к Савелию, который выходил из ворот, придерживая гробик, перевязанный кушаком, переходившим через плечо старика; Гришка, также без шапки, следовал за ним с лопатой и скребком на плече. Во всю дорогу Савелий не обернулся к своему спутнику, слова с ним не промолвил: Гришка нарочно, казалось, ступал осторожнее и старался не шуметь скребком и лопатой, чтобы не обращать на себя внимания. Время от времени он заходил в сторону и сбоку поглядывал на лицо дяди Савелия; но в этих взглядах далеко уже не было того лукавства, той быстроты, какими отличались они несколько дней назад, когда мальчик выступал по той же дороге с бочонком за спиною. Самые мысли его были теперь как словно другие. Он не думал спихивать камней в ручей, не думал подкрадываться к воронам, садившимся иногда в десяти шагах от дороги. Самые воробьи не занимали его, хотя, надо сказать, они так же шумливо, как и тогда, егозили в ветлах, прыгали

по плетням и били крылышками, купаясь в рыхлом снегу.

Поднявшись в Ягодню, старик зашел прежде всех к куму Дрону, потом к свату Стег-нею и попросил их подсобить ему выкопать могилку. Те сначала поохали, Потом начали вспоминать о том, давно ли было, как пировали они на крестинах; но видя, что Савелию было не в охоту плакать, взяли скребки и от-правились. Пока рыли могилу, Савелий по-слал Гришку за попом. Обряд похорон совер-шился очень скоро. Немного погодя на том месте, где была яма, поднялся небольшой хол-мик. Снег валил густыми хлопьями, и, прежде чем Савелий успел уровнять землю, снег об-сыпал ее, точно пухом.

– Ну, – проговорил Савелий, вздохнув как-то в два приема, – ну, внучек, прости!.. Думал, поживешь с нами... в утеху будешь... Прости, внучек!..

– Полно, кум, – сказал Дрон, – есть о чем со-крушаться! Добро бы уж ходил внучек-то, ли-бо лепетать начал, а то всего только пять дней было ему...

– Бог даст, другого наживешь внучка-то! –

проговорил, в свою очередь, сват Стегней, – сноха не старая, сын парень также молодец: какие года ему!..

В ответ на такие утешения Савелий махнул только рукою и отвернулся. Кум Дрон и сват Стегней переглянулись, как будто сказать хотели друг другу: «Оставить надо, не до того теперь!» – простились и пошли по домам.

Савелий, сопровождаемый Гришкой, который по-прежнему шел в некотором отдалении, ступал бережно и старался не обращать на себя внимания, покинул кладбище. Неподалеку от церкви встретились они с Андреем. Савелий находился в родстве с Дроном и Стегнеем: первый доводился ему кумом, второй сватом; Андрей был ему чужой, а между тем Савелий обошелся с ним гораздо ласковее, чем с двумя первыми. Он приподнял шапку в ответ на поклон Андрея и даже замедлил шаг.

– Савелий Родионыч, – сказал Андрей своим грудным тихим голосом, – послушай: у меня трое было... трое уж взрослых! Девочке моей пошел двенадцатый год; Егорушке семь лет было... И тех схоронил, Савелий Родио-

ных!.. Как тут быть-то! Знать, так уж нам господь посылает; он дает детей, он и отнимает... Говорю тебе: у меня трое было, – всех схоронил!

– Братец ты мой, – промолвил Савелий, в первый раз в этот день возвышая голос, – возьми в толк: ведь шесть лет ждал внучка-то! Шесть лет просил о нем господа! Уж, кажется, я ли ему не радовался! Как радовался-то!.. А тут еще одно к одному, другой случай вышел... Совсем сокрушился!..

– Слышал я, слышал... Сказывали! – подхватил Андрей. – Пожалел я тебя, Савелий Родионыч... Ну и в этом также, Савелий Родионыч... в этом также... рассуди – у тебя; остаток: деньги были... Случись такой грех с другим, с бедным, тут что делать? Как тут быть? Вестимо, жаль... Ну, да бог с ними! По крайности хоть ослобонился...

– Братец мой, последнее ведь отдал! Всего только и было! – сказал Савелий, покачивая головою с боку на бок, – только всего добра и было! Десять лет трудился, десять лет спины не разгибал и потом обливался!.. Разве они даром мне достались, эти деньги-то? Подумай

тоже и ты: разве я нашел их, сидючи на печке да руки скламши? Десять годов работал, берег – и все пошло прахом! В один день все ушло... и куда ушло, подумаешь!

– Полно, Савелий Родионыч, полно! Господь наказывает, господь и милует! Кабы не господь, на кого бы еще надеяться! Моя жизнь тошнее твоей, и-и! Куда! А ведь живу же, живу!.. Живут люди и не в такой горести, Савелий Родионыч, право так! Право!

Беседуя таким образом, они незаметно спустились к ручью, который просачивался теперь в снежных сугробах холодной темно-синюю лентою. Тут Андрей и Савелий расстались; один пошел в Ягодню, другой направился к мельнице.

Снег продолжал валить хлопьями. Церковь на возвышении и даже ближняя часть лугового ската исчезали совершенно, как бы задернутые белым, медленно колеблющимся пологом. В двадцати шагах нельзя было различать предметов на дне долины. Мало-помалу, однако ж, в воздухе стало проясняться: снежная, движущаяся сетка заметно редела. Местами открывались клочки серого неба, ко-

торое постепенно синело и сгущалось, приближаясь к дальнему горизонту. Немного погодя снег перестал падать; изредка только то тут, то там, мимо синего горизонта, медленно пролетали, кружась и тихо опускаясь, одинокие снежные хлопья.

Но перемена погоды встречала глубокое равнодушие со стороны Савелия; в этом случае, как и во всех, впрочем, случаях, представлял он резкую противоположность с Гришуткой. Последний, надо думать, обладал большою твердостью духа и способен был переносить с более философским спокойствием удары рока. Он, по-видимому, заметно ободрялся; казалось, даже успел овладеть всегдашним своим расположением, или старался, по крайней мере, развлечь себя и рассеять. Он внимательно следил за одиноко кружившимися в воздухе снеговыми хлопьями, выводил носком лаптя вычурные фестоны по снегу, не пропускал случая выставить изнанку ладони навстречу спускавшимся снежинкам; часто даже улучал минуту и, закинув назад голову, ловил их на язык. Правда, стоило Савелию кашлянуть или сделать движение

рукою, Гришутка выпрямлялся, выравнивал на плече своем скребок и лопатку и вообще принимал озабоченный, суетливо-деловой вид; но это продолжалось минуту, много две, после чего он снова овладел собою и снова старался себя рассеять.

Так вышли они на луг, который, под снежным покровом своим, убежал как будто еще дальше к бледно-лиловым роцам и темно-синему небосклону. Тишина была мертвая; все пропало, казалось, под снегом и погрузилось в глубокий сон. Кровля маленькой мельницы и осенявшие ее старые ветлы одиноко белели, возвышаясь под сизым, отдаленным горизонтом. Там было так же тихо, как и во всей окрестности. Не слышно было ни шума воды, ни того глухого, ровно вздрагивающего гула, который показывает, что жернова на всем ходу и колеса дружно повертываются. Помолец окончил, видно, свою работу и уехал; оно и лучше было. Так думал Савелий. На дворе и в доме застал он ту же тишину; тишина снизошла даже как будто в самую душу обывателей маленькой мельницы. Петр смотрел теперь не так печально; Марья заметно успокоилась.

При виде свекра, возвращающегося с пустыми руками, она снова заплакала; но слезы ее не сопровождались криками и воплями отчаяния, слезы ее приостановились даже, когда Савелий подошел к ней и ласково начал утешать ее, ссылаясь на промысл, на волю божью.

– Знаю, батюшка, божью волю не нам судить, ее не переспоришь, а все горько! – сказала Марья голосом, надорванным печалью. – Не забыть мне, долго не забыть моего дитятку... Так я к нему привыкла, так привязалась!.. Кажись, батюшка, век буду я им беременна! Век буду носить его!.. Век его не забуду!

Но в горестные минуты человеку всегда свойственно терять надежду в будущее, всегда свойственно преувеличивать свои страдания! Не прошло года, и уже между жителями маленькой мельницы помину не было о минувших несчастьях. Мирная, безмятежная радость изображалась на всех лицах, особенно на старческом лице дедушки Савелия, которому снова пришлось сидеть на обрубке под навесом, снова пришлось хлопотать над люль-

кой.

Пришлось также опять за вином посылать; но поехал уже Петр, а не Гришка, хотя, надо сказать, последний ни за что бы теперь не попался; Гришутка заметно меньше зевал на стороны и вообще выказывал меньше рассеянности. Крестины прошли на этот раз несравненно веселее, чем в былое время. Сват Стегней, кум Дрон и Палагея пели песни; Савелий радостно потряхивал сединами, отпускал ласковые шуточки снохе и поминутно трепал по плечу Андрея, который часто заглядывал теперь на маленькую мельницу. Самая мельница словно разделяла радость своих хозяев. В день крестин возы с рожью не только наполняли двор, но даже стояли за воротами, жернова порхали, как бы порываясь пуститься в пляс; колесо вертелось без отдыха, обдавая пеной нижнюю часть амбара, тогда как кровля, тихо вздрагивая, посылала в воздух легкие облака мучной пыли.

Микулинский мельник и сыновья его продолжают коситься на маленькую мельницу. Но Савелий не обращает на них никакого внимания. Мельница его год от году процве-

тает, год от году появляется на ней больше помольцев, так что снова приходится жернова менять, совсем почти износились; впрочем, есть теперь на что купить, слава богу! Но это с одной только стороны старика радует; с другой стороны – другая радость: у него внучек, крепенький, здоровый мальчуган, которого, можно сказать без преувеличения, сам дедушка почти вынянчил.

Часто, в ясные солнечные дни, можно видеть, как внучек ступает по двору и, переваливаясь с ноги на ногу, наподобие утки, спешит убежать от деда, который выбивается из сил, по-видимому, чтобы поймать ребенка, хлопает в ладоши и во все время преследования не перестает ухмыляться в седую свою бороду. Но веселые крики ребенка, хлопанье в ладоши деда, голос Петра, песня Марьи постепенно умолкают, по мере того как вечерняя заря угасает на небе. Ночь спускается на землю... Все утихает, кроме маленькой мельницы, которая, ровно вздрагивая, одна шумит посреди заснувшей окрестности, напоминая как будто о старом своем хозяине. Он так же не знал никогда отдыха и век свой трудился,

даже в то время, как спали другие.

Примечания

1

Протеже – лицо, которое пользуется чей-нибудь протекцией в устройстве на работу, в продвижении по службе и т. п. (*фр.*)

[^^^]